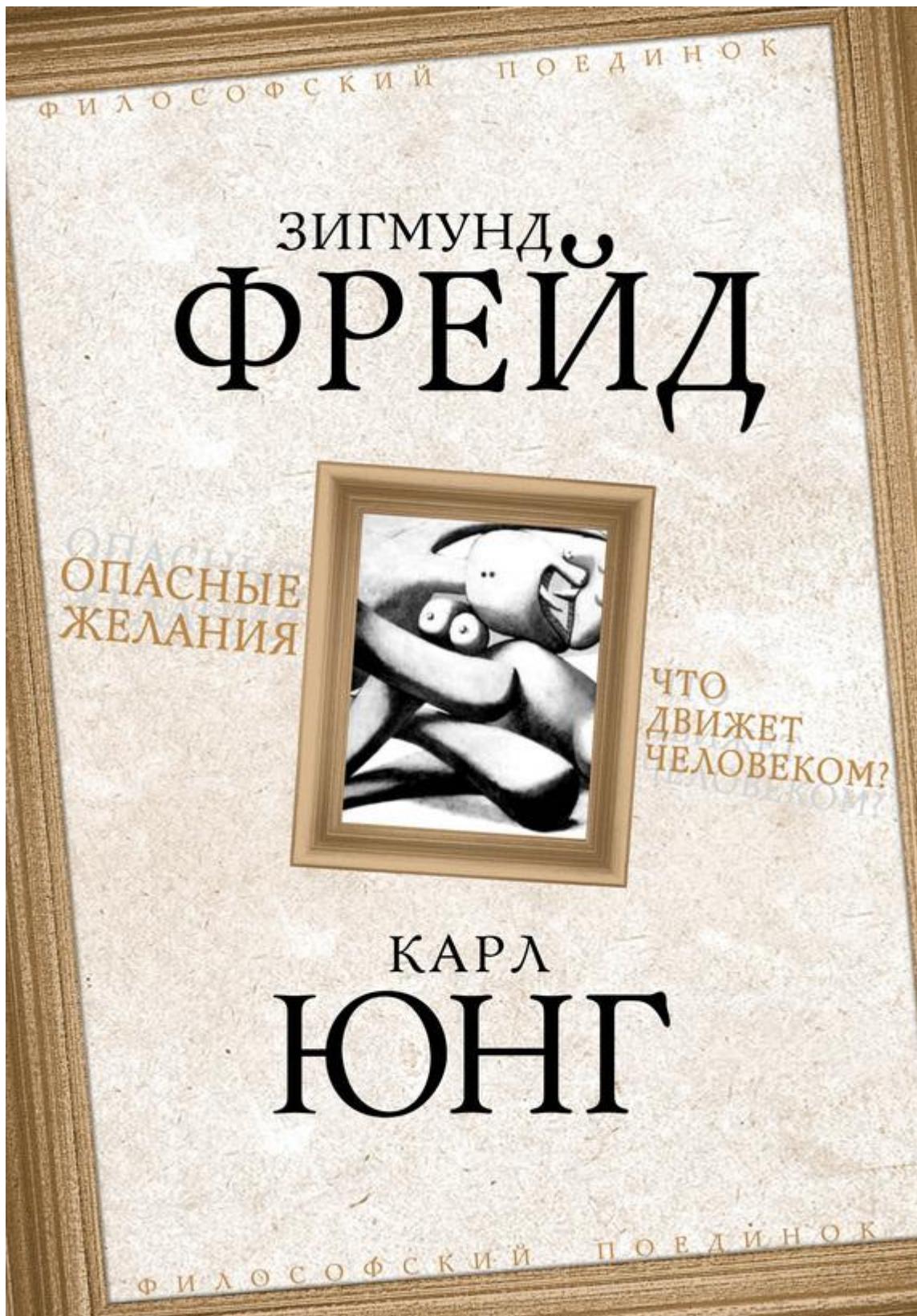


**Карл Густав Юнг Зигмунд Фрейд
Опасные желания. Что движет человеком?**

Философский поединок –



Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8722472

«Зигмунд Фрейд, Карл Юнг. Опасные желания. Что движет человеком?»: Алгоритм;
Москва; 2014
ISBN 978-5-4438-0911-3

Аннотация

Зигмунд Фрейд и Карл Юнг – два величайших представителя аналитической психологии XX века. Фрейд был основателем этого течения, оказавшего огромное влияние на философию, социологию, антропологию, литературу и искусство двадцатого столетия. Интерес к теории Фрейда не угасает и в наши дни.

Карл Юнг был верным учеником Зигмунда Фрейда и считался его «престолонаследником», однако затем между ними произошел конфликт, в результате которого Юнг покинул Фрейда. Причиной конфликта стало различное понимание мотивов поведения человека – Фрейд считал, что в его основе лежат главным образом подавленные сексуальные желания; Юнг отводил сексуальности гораздо меньшую роль. Согласно представлениям Юнга, поведение человека более зависит от «архетипических образов» и «коллективного бессознательного», чем от сексуальной энергии «либидо».

В книге, представленной вашему вниманию, содержатся наиболее значимые произведения Фрейда и Юнга, в которых дается ответ на вопрос, что движет человеком в его поведении. Кроме того, приводятся воспоминания Юнга о Фрейде, где читатель найдет любопытные сведения об этом великом психоаналитике, а также познакомится с тем, как Юнг объясняет причины произошедшего между ними конфликта.

Зигмунд Фрейд, Карл Юнг Опасные желания. Что движет человеком?

© ООО «Издательство «Алгоритм», 2014

3. Фрейд. Как рождаются желания¹

Эдипов комплекс

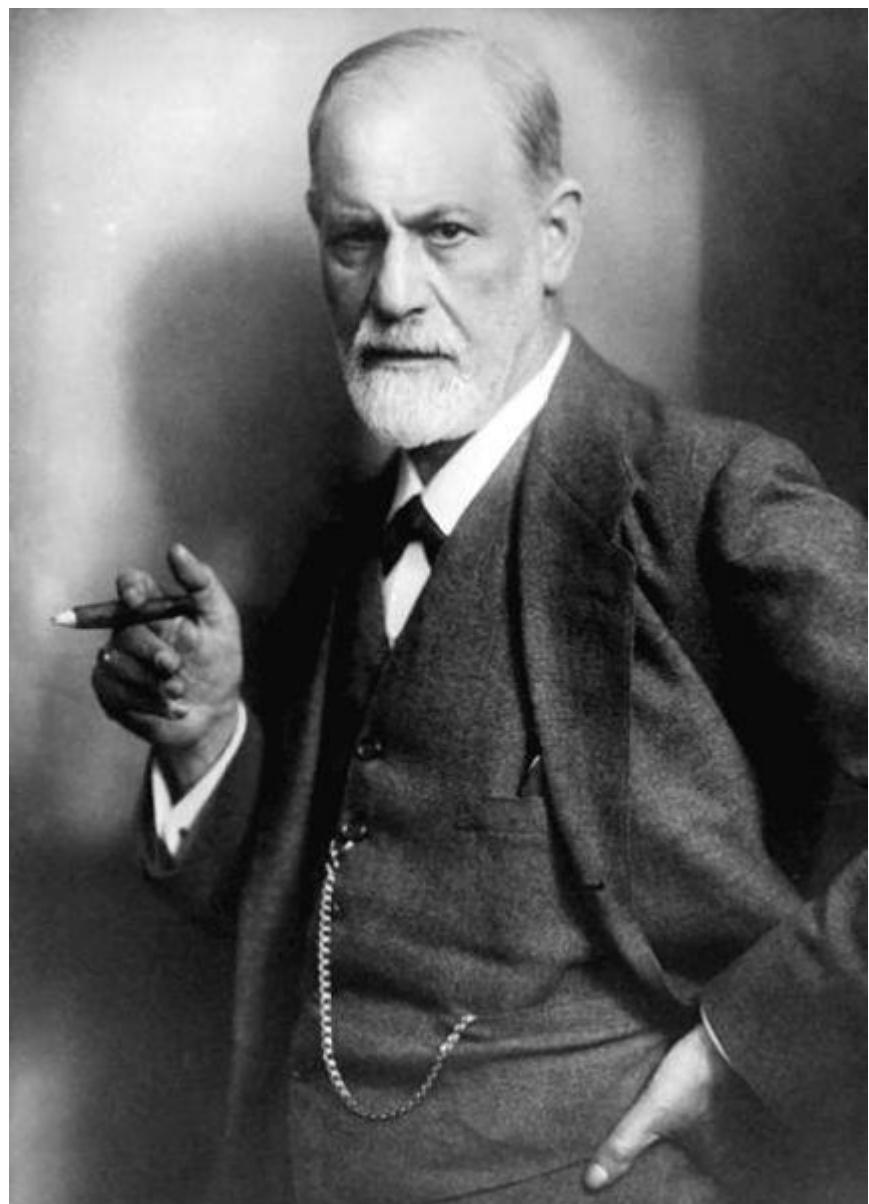
Исследуя первые психические образования сексуальной жизни у ребенка, мы берем обычно в качестве объекта ребенка мужского пола, маленького мальчика. Мы полагали, что у маленькой девочки дело должно обстоять аналогичным образом, но все же как-то иначе. В каком пункте развития следует искать этой разницы – это с определенностью установлено не было.

Ситуация эдипова комплекса является первым этапом, который мы с уверенностью распознаем у мальчика. Он нам легко понятен, так как в нем мальчик фиксируется на том самом объекте, к которому он в предшествующих периодах младенчества и ухода был уже привязан с помощью своего либидо, не имевшего еще генитального характера. Тот факт, что он учитывает при этом личность отца, как стоящего на его пути соперника, которого он хочет устраниТЬ и место которого он хочет занять, вытекает непосредственно из реальных соотношений. Эдиповская установка мальчика относится к фаллической фазе и погибает вследствие страха кастрации, т. е. вследствие нарцисстического отношения к гениталиям. Трудность понимания вытекает из того усложняющего обстоятельства, что самый эдипов комплекс у мальчика имеет двоякую установку, активную и пассивную, соответственно

¹ Из произведений З. Фрейда «Психопатология обыденной жизни», «К теории полового влечения», «Ребенка бьют» – к вопросу о происхождении сексуальных извращений», «О нарцисме», «Некоторые психические следствия анатомического различия полов», «Несколько замечаний по поводу понятия «бессознательное»», «Массовая психология и анализ человеческого «Я»», ««Я» и «Оно»»,

бисексуальному расположению. Мальчик хочет также заменить отцу в качестве любовного объекта мать; мы называем это женственной установкой.

Относительно доисторического периода эдипова комплекса у мальчика нам еще далеко не все ясно. Мы знаем из него идентификацию с отцом, связанную с нежными побуждениями и лишенную еще характера соперничества в отношении к матери. Другим элементом этого предшествующего периода является, по моему мнению, не отсутствующая ни в одном случае мастурбаторная манипуляция с гениталиями, онанизм в раннем детстве; более или менее насильственное подавление его со стороны воспитателей активирует кастрационный комплекс. Мы предполагаем, что этот онанизм связан с эдиповым комплексом и означает отреагирование его сексуального возбуждения. Неизвестно, берет ли он свое начало в этих соотношениях или же он возникает самопроизвольно, как деятельность, связанная с определенными органами, и лишь впоследствии присоединяется к эдипову комплексу; вторая возможность является гораздо более вероятной. Возникает еще вопрос о роли ночного недержания мочи и об отвыкании от этого вследствие вмешательства воспитания. Мы предпочитаем простой синтез, согласно которому ночное недержание мочи является результатом онанизма, а подавление его оценивается мальчиком как торможение его genitalной деятельности, т. е. в смысле угрозы кастрации; но неизвестно, будем ли мы правы в каждом отдельном случае. Наконец, анализ дает нам возможность смутно узнать о том, что подслушивание коитуса между родителями в очень раннем детском возрасте может вызвать первое сексуальное возбуждение и стать в силу своего последующего влияния исходным пунктом для всего сексуального развития. Онанизм, равно как и обе установки эдипова комплекса, присоединяется впоследствии к получающемуся в результате подслушивания впечатлению. Однако мы не можем предположить, что такое подслушивание коитуса имеет всегда место, и сталкиваемся здесь с проблемой «первофантазий». Если, таким образом, в доисторическом периоде эдипова комплекса у мальчика есть так много невыясненного, то следует проверить и решить, всегда ли существует один и тот же путь и не приводят ли самые различные предварительные стадии к центральному пункту одной и той же конечной ситуации.



Зигмунд Фрейд

* * *

Эдипов комплекс маленькой девочки скрывает в себе проблему глубже, чем эдипов комплекс мальчика. Первоначально мать являлась для обоих первым объектом; мы не должны удивляться, если мальчик сохраняет этот объект и в эдиповом комплексе. Но каким образом девочка отказывается от него и выбирает в качестве объекта отца? При разрешении этого вопроса я имел возможность установить некоторые положения, которые могут пролить свет именно на доисторический период эдиповского соотношения у девочки.

Каждый аналитик имел возможность изучить женщин, которые с особой интенсивностью и упорством сохраняли свою привязанность к отцу и желание получить от отца ребенка, – желание, в котором эта привязанность получила свое высшее выражение. Можно с полным основанием предположить, что это фантастическое желание было также и движущей силой их инфантильного онанизма, и тогда легко получается такое впечатление, что мы находимся здесь перед элементарным, не поддающимся дальнейшему разложению фактом детской сексуальной жизни. Однако подробный анализ этих именно случаев показывает нечто другое, а именно, что эдипов комплекс имеет в данном случае долгий доисторический период и является до некоторой степени вторичным образованием.

По замечанию старого детского врача Линднера, ребенок открывает доставляющую

удовольствие генитальную зону – пенис или клитор – во время сладострастного сосания. Я хочу оставить открытым вопрос о том, действительно ли ребенок пользуется этим новоприобретенным источником удовольствия для замены недавно потерянной материнской груди, на что могут указывать позднейшие фантазии. Короче говоря, генитальная зона когда-нибудь открывается, и у нас нет, по-видимому, никакого основания подвести первые манипуляции с ней под психическое содержание. Однако ближайшим моментом в начинающейся таким образом фаллической фазе является не связь этого онанизма с объектными привязанностями эдипова комплекса, а чреватое тяжелыми последствиями открытие, выпадающее на долю маленькой девочки. Она случайно обнаруживает большой, легко заметный пенис у брата или сверстника, распознает его как преувеличенный аналог своего собственного маленького и скрытого органа, и ею овладевает зависть к пенису.

Интересна противоположность в поведении обоих полов: в аналогичном случае, когда маленький мальчик впервые видит генитальную область девочки, он ведет себя нерешительно, прежде всего, он мало интересуется; он ничего не видит или отрицает свое восприятие, ослабляет его, ищет подтверждений, которые привели бы это восприятие в соответствие с его ожиданием. Лишь впоследствии, когда на него оказывает свое действие угроза кастрации, тогда это наблюдение становится для него многозначительным: воспоминание о нем или новое наблюдение вызывает в нем взрыв устрашающего аффекта и вынуждает его поверить в действительность угрозы, к которой он до сих пор относился иронически. Из этого соотношения вытекают две реакции, которые могут зафиксироваться, а затем каждая из них в отдельности или обе вместе или в совокупности с другими моментами могут надолго определить его отношение к женщине: боязнь изуродованного существа или презрение к нему, вызванное чувством превосходства. Но это развитие происходит уже в будущем, хотя и не очень отдаленном.

Иначе ведет себя маленькая девочка. У нее мгновенно созревает суждение и решение. Она видит пенис, знает, что у нее нет его, и хочет иметь его.

Здесь ответвляется свойственный женщине так называемый комплекс мужественности, который иногда доставляет большие трудности предначертанному развитию к женственности, если не удается вскоре преодолеть его. Надежда получить все-таки когда-нибудь пенис и стать, таким образом, равной мужчине может сохраняться в течение очень долгого времени и стать мотивом для странных, иногда непонятных поступков. Или начинается процесс, который я назвал бы отрицанием; процесс этот наступает в детской душевной жизни нередко и, по-видимому, не таит в себе опасностей; у взрослого же он знаменовал бы собою психоз. Девочка отказывается признать факт своей кастрации, твердо убеждена в том, что она обладает пенисом и вследствие этого вынуждена вести себя так, как если бы она была мужчиной.

* * *

Психические последствия зависти к пенису, поскольку она не растворяется в реактивном образовании комплекса мужественности, разнообразны и многозначительны. С признанием своей нарцисстической раны у женщины возникает – словно рубец – чувство малоценностии. После того как она преодолевает первую попытку объяснить отсутствие у нее пениса понесенным ею лично наказанием и узнает об общераспространенности этого характерного полового признака, она начинает разделять пренебрежение мужчины к полу, имеющему дефект в столь важной части организма, и продолжает, по крайней мере, в этой оценке приравнивать себя к мужчине.

Даже в том случае, если она не испытывает зависти к пенису в отношении к себе самой, зависть эта не исчезает: с помощью небольшого перенесения она получает свое выражение в характерной черте ревности. Конечно, ревность свойственна не одному только полу; она имеет более широкое обоснование, однако я полагаю, что в душевной жизни женщины она играет все же гораздо большую роль, так как она получает огромное подкрепление из

источника подавленной зависти к пенису. Еще прежде, чем я мог сделать такой вывод относительно ревности, я выделил первую фазу столь частой у девочки онанистической фантазии, которая была названа «ребенка бьют». Смысл этой фантазии сводится к тому, что бьют другого ребенка, которого девочка ревнует как соперника. Эта фантазия является, по-видимому, остатком фаллического периода у девочки; своеобразное упорство, поразившее меня в однообразной формуле «ребенка бьют», допускает, по всей вероятности, еще особое толкование. Ребенок, которого бьют, т. е. любят, является в сущности не чем иным, как клитором, так что это выражение содержит в глубинах своих признания мастурбации, которая связана с содержанием этой формулы, начиная с фаллической фазы вплоть до более поздних времен.

Третьим следствием зависти к пенису является, по-видимому, ослабление нежного отношения к матери. Связь эта не совсем понятна, но всегда можно убедиться в том, что виновницей отсутствия пениса считается, в конце концов, почти всегда мать, которая родила ребенка на свет, не наделив его всем необходимым. Исторический ход мыслей таков, что вскоре после обнаружения дефекта в гениталиях возникает ревность в отношении к другому ребенку, который якобы больше любит матерью; и это является поводом для освобождения от привязанности к матери. Это обстоятельство согласуется с тем, что этот более любимый матерью ребенок становится первым объектом фантазии о наказании его, которая предшествует мастурбации.

Поразительное влияние зависти к пенису – или открытия малоценностя клитора – является, конечно, самым важным из всех. Раньше я неоднократно получал впечатление, что женщина в общем хуже переносит мастурбацию, нежели мужчина, чаще борется с ней и не прибегает к ней тогда, когда мужчина при тех же самых условиях безусловно пользуется этим средством. Разумеется, если принять это положение за правило, то опыт укажет нам на многочисленные исключения из него. Реакции индивидов обоего пола состоят ведь из мужских и женских черт. Но тем не менее у нас есть основание предположить, что мастурбация более чужда природе женщины, и для разрешения этой предполагаемой проблемы следует принять во внимание, что по крайней мере мастурбация, связанная с клитором, является мужской манипуляцией и что условием для развития женственности является устранение сексуальности, связанной с клитором. Анализы фаллической фазы показали мне, что вскоре после проявления зависти к пенису у девочки наступает энергичное сопротивление против онанизма, которое не может быть объяснено одним только влиянием воспитания. Это побуждение является, очевидно, предвестником того вытеснения, которое устранит ко времени созревания большую часть мужской сексуальности, чтобы дать место развитию женственности. Возможно, что эта первая оппозиция против аутоэротической деятельности не достигает своей цели. В анализированных мною случаях так и было. Затем конфликт продолжается, и тогда, как и впоследствии, девочка делает все, чтобы освободиться от онанизма. Некоторые позднейшие проявления сексуальной жизни женщины остаются непонятными, если не учитывается этот веский мотив.

Я не могу объяснить себе этого сопротивления маленькой девочки против фаллического онанизма иначе, как предположив, что эта доставляющая удовольствие деятельность жестоко страдает от возникающего вслед за ней момента. Этого момента не надо долго искать. Это – связанная с завистью к пенису обида, напоминание, что в этом пункте нельзя сравняться с мальчиком и поэтому лучше всего отказаться от соревнования с ним. Таким образом, познание анатомического различия полов отталкивает маленькую девочку от женственности и от мужского онанизма и направляет ее на новые пути, которые ведут к развитию женственности.

Об эдиповом комплексе до сих пор не было речи, он до сих пор и не играл никакой роли. Но теперь либида девочки занимает новую позицию (можно лишь сказать: путем предначертанного символического сравнения пенис-ребенок). Она отказывается от желания иметь пенис, чтобы заменить его желанием иметь ребенка, и для этой цели она выбирает в качестве любовного объекта отца. Мать становится объектом ревности, маленькая девочка

превращается в женщину. Если я могу доверять единичному аналитическому результату, то в этой новой ситуации дело может дойти до физических ощущений, которые должны быть учтены как преждевременное пробуждение женского генитального аппарата. Если девочка отказывается впоследствии от этой привязанности к отцу в силу безнадежности ее, то привязанность эта может вылиться в идентификацию с отцом, вместе с которой девочка возвращается к комплексу мужественности и иногда фиксируется на нем.

* * *

Я сказал все существенное, что мне было нужно, и останавливаюсь теперь, чтобы окинуть взором результаты, к которым мы пришли. Мы познакомились с периодом эдипова комплекса у девочки. Относительно этого же периода развития у мальчика нам абсолютно ничего неизвестно. У девочки эдипов комплекс является вторичным образованием. Ему предшествуют и его подготавливают воздействия кастрационного комплекса. В соотношении между эдиповым и кастрационным комплексами существует фундаментальная разница у обоих полов. В то время как эдипов комплекс мальчика погибает вследствие кастрационного комплекса, эдипов комплекс девочки становится возможным и возникает благодаря кастрационному комплексу. Это противоречие получает свое объяснение, если принять во внимание, что кастрационный комплекс оказывает при этом свое действие всегда в духе своего содержания, задерживая и ограничивая мужественность и способствуя развитию женственности. Разница в этой части сексуального развития у мужчины и у женщины является понятным следствием анатомического различия гениталий и связанной с этим психической ситуации; она соответствует разнице между осуществленной кастрацией и кастрацией, которая только угрожает. Таким образом, наш результат является в основе своей чем-то само собою понятным, что можно было предвидеть сначала.

Между тем эдипов комплекс имеет такое важное значение, что далеко не безразлично, каким образом попадают в эту ситуацию и каким образом освобождаются от нее. Как я показал в предыдущем сообщении, результаты которого здесь подтверждаются мною, этот комплекс у мальчика не просто вытесняется, он буквально разрушается под влиянием шока, связанного с угрозой кастрации. Мальчик отказывается от своих либидинозных привязанностей, которые десексуализируются и отчасти сублимируются. Объекты их включаются в состав Я, где они образуют ядро сверх-Я и придают этому новообразованию характерные особенности. В нормальном, лучше говоря в идеальном, случае эдипов комплекс не существует уже больше и в бессознательном, сверх-Я стало его наследником. Так как пенис обязан – в смысле Ференчи – своей чрезвычайно высокой нарцисстической насыщенностью своему органическому значению для продолжения рода, то катастрофу эдипова комплекса – отказ от инцеста, возникновение совести, морали – следует учитывать как победу рода над индивидом. Это интересная точка зрения, если принять во внимание, что невроз основан на возмущении Я против требований сексуальной функции. Но если мы оставим точку зрения индивидуальной психологии, то это отнюдь не приведет нас к ясности запутанных соотношений.

У девочки отпадает мотив для разрушения эдипова комплекса. Кастрация уже раньшеоказала свое действие, которое состояло в том, что оно толкнуло ребенка к ситуации эдипова комплекса. Поэтому последний избегает той участи, которая была ему предуготовлена у мальчика; девочка изживает его медленно, упраздняет его путем вытеснения; его влияние распространяется далеко в область нормальной душевной жизни женщины. Я говорю об этом неохотно, но не могу отделаться от мысли, что нормальный уровень нравственности у женщины – иной. Сверх-Я никогда не будет столь неумолимо, столь безлично и столь независимо от своих эффективных источников, как мы этого требуем от мужчины. Характерные черты, которые критика издавна ставила в упрек женщине, что она менее способна испытывать чувство справедливости, нежели мужчина, что она менее способна подчиняться настойчивым жизненным необходимостям, что она в своих решениях чаще

руководствуется нежными и враждебными чувствами, – эти характерные черты находят себе достаточное обоснование в вышеприведенной модификации образования сверх-Я.

Возражение феминистов, которые хотят нам навязать полное равноправие и одинаковую оценку полов, не должно вводить нас в заблуждение, хотя следует охотно признать, что и многие мужчины далеки от мужского идеала и что все люди соединяют в себе мужские и женские характерные черты вследствие своего бисексуального предрасположения и перекрестной наследственности, так что мужественность и женственность в чистом виде остаются теоретическими конструкциями с неопределенным содержанием.

О происхождении сексуальных извращений

Фантастическое представление «ребенка бывают» с поразительной частотой встречается в признаниях лиц, обращавшихся к аналитическому лечению по поводу своей истерии или невроза навязчивых состояний. Весьма правдоподобно, что еще чаще оно имеет место у других людей, которых не принуждает принять подобное решение какое-то явное заболевание.

С этой фантазией связаны ощущения удовольствия, из-за которых она бесчисленное количество раз воспроизводилась или все еще воспроизводится [нашими пациентами]. Кульминацией представленной ситуации почти всегда, как правило, оказывается онанистическое самоудовлетворение, которое поначалу производится по воле фантазирующего, но затем приобретает и некий навязчивый характер, преодолевая его сопротивление.

Признание в этой фантазии делается лишь с колебанием, воспоминание о ее первом появлении расплывается, аналитическая трактовка предмета сталкивается с недвусмысленным сопротивлением, стыд и сознание вины возбуждаются при этом, возможно, сильнее, чем при схожих сообщениях, касающихся воспоминаний о начале сексуальной жизни.

Наконец можно констатировать, что первые фантазии подобного рода вынашивались в очень ранний период, определенно до поступления в школу, уже на пятом и шестом году жизни. Когда ребенок увидел затем в школе, как другие дети избивались учителем, это переживание вновь пробудило к жизни эти фантазии, если они уже уснули, или усилило их, если они все еще были налицо, примечательным образом модифицировав их содержание. Отныне и впредь избивались «неопределенно многие» дети. Влияние школы было столь отчетливым, что пациенты поначалу пытались возвести свои фантазии битья исключительно к этим впечатлениям школьного периода, начинающегося с шестилетнего возраста. Но эта попытка всегда оказывалась несостоятельной: фантазии были налицо уже до этого времени.

Когда в старших классах избиение детей прекращалось, его воздействие более чем возмещалось впечатлениями, получаемыми от чтения, которое быстро приобретало большое значение. Применительно к моим пациентам, речь почти всегда шла об одних и тех же доступных молодежи книгах, в содержании которых фантазии битья черпали для себя новые импульсы: так называемая *Bibliothèque rose*, «Хижина дяди Тома» и тому подобное. Состязаясь с этими сочинениями, собственное фантазирование ребенка начинало измышлять целый набор ситуаций и институтов, в которых детей за их дурное поведение и озорство бьют, наказывают или карают каким-то иным образом.

Поскольку фантастическое представление «ребенка бывают» было загружено интенсивным удовольствием и приводило к акту автоэротического удовлетворения, можно было бы ожидать того, что источником схожего наслаждения служило также и наблюдение за тем, как в школе избивался другой ребенок. Этого, однако, никогда не происходило. Присутствие при реальных сценах избиения в школе и переживания, связанные с ними, вызывали у наблюдающего ребенка, по-видимому, какое-то смешанное чувство совершенно особого возбуждения со значительной долей осуждения. В ряде случаев реальное

переживание сцен избиения воспринималось как нетерпимое. Впрочем, и в рафинированных фантазиях более поздних лет в качестве условия настаивалось на том, что наказываемым детям не причиняется никакого серьезного вреда.

* * *

Мы должны были поднять вопрос о том, какое соотношение существует между значимостью фантазии битья и той ролью, которую могло бы играть в домашнем воспитании ребенка реальное телесное наказание. Напрашивающееся предположение о том, что здесь могло бы иметь место обратно пропорциональное соотношение, не может быть доказано в силу односторонности нашего материала. Людей, которые доставляли материал для этих анализов, очень редко били в детстве – во всяком случае, их воспитывали не разгами. Естественно, каждый из этих детей в том или ином случае имел возможность почувствовать превосходящую физическую силу своих родителей или воспитателей, а то, что в любой детской нет недостатка в потасовках между самими детьми, и вовсе не нужно выделять как-то особо.

Наше исследование не прочь было извлечь побольше сведений из тех ранних и несложных фантазий, которые явным образом восходят к влиянию школьных впечатлений и чтения этого периода. Кем был избиваемый ребенок? Самим фантазирующими или каким-то посторонним? Был ли это всегда один и тот же ребенок или сколь угодно часто другой? Кем был тот, кто бил ребенка? Какой-то взрослый? И кто тогда? Или же ребенок фантазировал, будто он сам бьет другого? Никаких сведений, проливающих свет на все эти вопросы, мы не получали – всегда лишь один робкий ответ: «Больше я об этом ничего не знаю; ребенка бьют».

Справки относительно пола избиваемого ребенка имели больший успех, но и они не вносили никакой ясности. Иногда нам отвечали: «Всегда лишь мальчиков» или «Лишь девочек»; чаще ответ гласил: «Этого я не знаю» или: «Это все равно». То, что имело значение для исследователя – некое устойчивое соотношение между полом фантазирующего и полом избиваемого ребенка, зафиксировать так и не удавалось. Порой обнаруживалась еще одна характерная деталь содержания фантазии: «Маленького ребенка бьют по голой попе».

В данных обстоятельствах поначалу нельзя было даже решить, обозначить ли примыкающее к фантазии битья удовольствие как садистское или же как мазохистское.

Понять такую фантазию, возникающую в раннем детском возрасте, по-видимому, в результате каких-то случайных влияний и сохраняемую позже для получения автоэротического удовлетворения, в соответствии с нашими прежними взглядами можно лишь в том смысле, что речь здесь идет о какой-то первичной черте извращения. Одна из компонент сексуальной функции обогнала в развитии другую, зафиксировалась и, в результате, отклонилась от позднейших процессов развития, засвидетельствовав тем самым некую особую, ненормальную конституцию личности. Мы знаем, что подобное инфантильное извращение неизбежно остается на всю жизнь, позднее оно еще может подвернуться вытеснению, быть замещенным тем или иным реактивным образованием или же преобразиться под действием сублимации. (Возможно, однако, что сублимация берет начало в каком-то особом процессе, задерживавшемся вытеснением). Но тогда, когда процессы эти отсутствуют, извращение сохраняется и в зрелой жизни, и там, где мы встречаем у взрослого какое-то сексуальное отклонение – перверсию, фетишизм, инверсию, – там мы с полным правом ожидаем путем амнезического исследования раскрыть подобное фиксирующее событие детского периода. Да и задолго до психоанализа такие наблюдатели, как Вине, возводили странные сексуальные отклонения зрелого периода к подобным впечатлениям все того же пяти– или шестилетнего возраста. Впрочем, при этом мы наталкивались на границы нашего понимания, ибо фиксирующим впечатлениям недоставало какой бы то ни было травматической силы, большей частью они были банальными и никак не возбуждали других индивидов; невозможно было сказать, почему

именно на них зафиксировались сексуальные стремления. Но их значение можно было поискать как раз в том, что они давали – хотя бы и случайный – повод для фиксации преждевременной и готовой к скачку сексуальной компоненты, и мы должны были подготовиться к тому, что цепочка казуальной связи где-то преждевременно оборвется. Именно врожденная конституция, казалось, соответствовала всем требованиям для [объяснения] подобной точки обрыва.

Если оторвавшаяся преждевременно сексуальная компонента имеет садистский характер, то на основании уже достигнутых нами знаний мы можем ожидать, что в результате ее позднейшего вытеснения создастся предрасположенность к неврозу навязчивых состояний. Нельзя сказать, что этому ожиданию противоречит результат наших исследований. Среди шести случаев, на обстоятельном изучении которых построена эта небольшая статья (четыре женщины, два мужчины), есть случаи невроза навязчивых состояний – один весьма тяжкий, опасный для жизни, и один средней тяжести, хорошо доступный [терапевтическому] воздействию, а также третий, в котором присутствовали, по крайней мере, отдельные явные черты невроза навязчивых состояний. Четвертый случай, однако, был чистейшей истерией с болями и торможением, а в пятом случае человек обратился за помощью к аналитику лишь из-за нерешительности, от которой он страдал в своей жизни, и этот случай грубая клиническая диагностика либо вообще никак не классифицировала бы, либо отделалась бы от него, налепив на него ярлык какой-нибудь «психастении». Подобная статистика никак не может нас разочаровывать, ибо, во-первых, мы знаем, что не всякая предрасположенность обязательно развивается затем в болезнь, а во-вторых, мы вправе удовлетвориться объяснением того, что имеется налицо, и вообще уклониться от задачи уяснения также и того, почему ничто не произошло.

До сих пор и никак не дальше наши теперешние знания позволили бы нам проникнуть в понимание фантазии битья. Подозрение, что проблема этим не исчерпывается, шевелится, впрочем, в мозгу у врача-аналитика, когда ему приходится признаваться себе, что фантазии эти по большей части остаются в стороне от прочего содержания невроза и не занимают в его структуре никакого подходящего места; но обычно, как я знаю по собственному опыту, от подобных подозрений охотно отмахиваются.

* * *

В строгом смысле – а почему бы и не рассмотреть это настолько строго, насколько это возможно? – лишь такое аналитическое усилие заслуживает признания в качестве корректного психоанализа, которому удалось устраниТЬ амнезию, окутывающую для взрослого человека знание о его детской жизни (т. е. примерно с двух до пяти лет). В среде аналитиков об этом просто невозможно говорить слишком громко или слишком часто. Мотивы, заставляющие не считаться с подобным увещеванием, конечно же, понятны. Полезных результатов хотелось бы достигать в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами усилий. Но в настоящее время для каждого из нас теоретическое знание все еще несравненно весомей, нежели терапевтический результат, и тот, кто пренебрегает анализом детского периода, с необходимостью впадает в тяжелейшие заблуждения. Это подчеркивание значимости наиболее ранних переживаний не обусловливает недооценки более поздних; но позднейшие жизненные впечатления достаточно громко выражают себя при анализе устами больного, а поднять голос за права детства должен не кто иной, как врач.

Период детства с двух до четырех или пяти лет – это такое время, когда врожденные либидинозные факторы впервые пробуждаются под действием тех или иных переживаний и связываются с определенными комплексами. Рассматриваемые здесь фантазии битья появляются лишь к концу этого времени или по его завершении. Они, таким образом, вполне могут иметь какую-то предысторию, претерпевать известное различие, соответствовать конечному результату, а не начальному проявлению.

Это предположение подтверждается анализом. Последовательное его применение

позволяет выяснить, что фантазии битья имеют совсем непростую историю развития, в ходе которой многое в них не раз меняется: их отношение к фантазирующему лицу, их объект, содержание и значение.

Чтобы нам было легче проследить эти превращения, которым подвергаются фантазии битья, я позволю себе теперь ограничить свое описание лицами женского пола, которые и без того (четверо против двоих) составляют большую часть моего материала. Кроме того, с фантазиями битья у мужчин связана и другая тема, которую в настоящей статье я хотел бы обойти. При этом я попытаюсь схематизировать не больше, чем это необходимо при изображении среднестатистического случая. И даже если впоследствии дальнейшее наблюдение предоставит большее многообразие случаев, я все-таки уверен в том, что мне удалось ухватить какое-то типичное и отнюдь не редкое событие.

Следовательно, первая фаза фантазий битья у девочек должна относиться к весьма раннему периоду детства. Кое-что в них примечательным образом остается неопределенным, как если бы было безразличным. Скудость сведений, получаемых от пациентов при их первом сообщении «Ребенка бьют», как будто оправдывается в фантазии этой [фазы]. Но вот другая черта определяется вполне четко, причем в одном и том же духе. А именно, фантазирующий ребенок никогда не выступает избиваемым, это, как правило, какой-то другой ребенок, чаще всего – братишко или сестренка, когда таковые имеются. Поскольку это может быть как мальчик, так и девочка, никакого устойчивого соотношения между полом фантазирующего и избиваемого ребенка вывести здесь невозможно. Фантазия, таким образом, определенно не является мазохистской; ее можно было бы назвать садистской, но мы не вправе упускать из виду то обстоятельство, что фантазирующий ребенок сам никогда не выступает и в качестве бьющего. О последнем можно утверждать лишь то, что это не другой ребенок, но какой-то взрослый. Позднее этот неопределенный взрослый явно и недвусмысленно признается за отца (девочки).



Пресвятая Дева наказывает младенца Христа. Художник Макс Эрнст

* * *

Итак, эта первая фаза фантазии битья полностью передается следующим положением: «Отец бьет ребенка». Я выдал бы многое из содержания [фантазии], которое еще предстоит раскрыть, если сказал бы вместо этого: «Отец бьет ненавистного мне ребенка». Впрочем, можно колебаться относительно того, должны ли мы за этой предварительной стадией позднейшей фантазии битья признавать уже характер какой-то «фантазии». Возможно, речь здесь идет, скорее, о неких воспоминаниях о подобных событиях, свидетелями которых [пациенты] были, о желаниях, которые были вызваны теми или иными поводами, но сомнения эти не имеют никакого значения.

Между этой первой и последующей фазой происходят значительные перемены. Хотя роль бьющего по-прежнему исполняется отцом, роль избиваемого играет теперь, как правило, сам фантазирующий ребенок; фантазия имеет теперь подчеркнуто гедонистический характер и заполнена важным содержанием, происхождением которого мы займемся позже. Она выражается теперь словами: я избиваюсь отцом. Она имеет несомненно мазохистский характер.

Эта вторая фаза – самая важная из всех, и она больше других отягощена последствиями. Но о ней, в известном смысле, можно сказать, что она никогда не имела

реального существования. Ни в одном из случаев ее не вспоминают, ей так и не удалось пробиться к осознанию. Она представляет собой аналитическую конструкцию, но из-за этого ее необходимость не становится меньшей.

Третья фаза напоминает первую. Ее словесное выражение известно из сообщения пациентки. Отец никогда не выступает в качестве бьющего лица, последнее либо оставляется неопределенным, как в первой фазе, либо типичным образом загружается неким заместителем отца (учителем). Сам фантазирующий ребенок в фантазии битья больше не появляется. На мои настойчивые расспросы об этом пациентки отвечают лишь следующее: «Я, наверное, наблюдаю». Вместо одного избиваемого ребенка теперь в большинстве случаев налицо множество детей. Чаще всего избиваемыми (в фантазиях девочек) оказываются мальчики, но не знакомые им лично. Изначально несложная и монотонная ситуация избиения может теперь самым разнообразным образом модифицироваться и приукрашаться, а само избиение – замещаться наказаниями и унижениями иного рода. Но существенный характер, который отличает и простейшие фантазии этой фазы от фантазий первой фазы и который связывает ее со средней фазой, заключается в следующем: фантазия является теперь носительницей сильного и недвусмысленного сексуального возбуждения и, как таковая, способствует достижению онанистического удовлетворения. Но именно это и представляется загадочным: каким путем садистская с этих пор фантазия о том, что каких-то посторонних и незнакомых мальчиков бьют, получает отныне в свое постоянное владение либидинозные стремления маленькой девочки?

Мы не скрываем от себя и того, что взаимосвязь и последовательность трех фаз фантазии битья, равно как и все иные ее особенности, до сих пор оставались совершенно невыясненными.

* * *

Если повести анализ через те ранние времена, к которым возводится фантазия битья и из которых она извлекается воспоминанием, то он покажет нам ребенка, захваченного импульсами своего родительского комплекса.

Маленькая девочка с нежностью фиксируется на отце, который, очевидно, сделал все, чтобы завоевать ее любовь, и закладывает при этом семя, из которого возникнет установка ненависти и соперничества по отношению к матери, остающаяся наряду с потоком нежной привязанности к ней; этой установке с годами, может быть, суждено становиться все сильнее и осознаваться все отчетливее или же давать толчок к какой-то чрезмерной реактивной любовной привязанности к матери. В детской есть еще и другие дети, совсем немногим старше или младше, которых не желают терпеть по множеству разных причин, но главным образом потому, что с ними приходится делить любовь родителей, и которых отталкивают от себя со всей той неукротимой энергией, которая свойственна эмоциональной жизни этих лет. Если речь идет о младшем ребенке, брате или сестре (так дело обстояло в трех из четырех моих случаев), то его не только ненавидят, но еще и презирают, и старшему ребенку приходится при этом наблюдать, как именно он притягивает к себе ту львиную долю нежности, которую ослепленные родители всякий раз готовы уделить самому младшему. Вскоре становится ясно, что побои, даже если это не очень больно, означают отказ в любви и унижение. Так, не один ребенок, считавший себя надежно утвердившимся в непоколебимой любви своих родителей, одним-единственным ударом ниспровержался с небес своего воображаемого всемогущества. Таким образом, представление о том, что отец бьет этого ненавистного ребенка, доставляет удовольствие совершенно независимо от того, видели ли его действительно избивающим его. Это означает следующее: «Отец не любит этого другого ребенка, он любит лишь меня».

Таково, стало быть, содержание и значение фантазии битья в ее первой фазе. Фантазия явно удовлетворяет ревность ребенка и находится в зависимости от его любовной жизни, но ее также сильно подкрепляют и эгоистические интересы ребенка. Следовательно, остается

сомнительным, вправе ли мы обозначить ее как чисто «сексуальную»; не отваживаемся мы назвать ее и «садистской». Ведь известно, что все признаки, на которых мы привыкли основывать свои различия, ближе к истоку обычно становятся расплывчатыми. Так что это, по-видимому, напоминает предсказание трех ведьм Банко: [фантазия не является] ни отчетливо сексуальной, ни даже садистской, однако представляет собой тот материал, из которого обе должны позднее возникнуть. Однако ни один из случаев не дает оснований предполагать, что уже эта первая фаза фантазии служит тому возбуждению, которое учится разряжаться с использованием гениталий в акте онанизма.

В этом преждевременном выборе объекта инцестуозной любви сексуальная жизнь ребенка явно достигает ступени генитальной организации. В случае мальчика доказать это легче, но и в случае девочки это неоспоримо. Над либидинозным стремлением ребенка господствует нечто вроде предвосхищения позднейших окончательных и нормальных сексуальных целей; уместно выразить удивление по поводу того, откуда оно берется, но мы вправе принять его в качестве доказательства того, что гениталии начали уже играть свою роль в процессе возбуждения. Желание иметь с матерью ребенка всегда присутствует у мальчика, желание иметь ребенка от отца неизменно наличествует у девочки, и это при полной неспособности внести для себя ясность по поводу того, каким путем можно прийти к исполнению этого желания. То, что гениталии должны иметь к этому какое-то отношение, для ребенка, как будто, несомненно, хотя его размышления на этот счет могут заставить его искать суть предполагаемой между родителями интимности и в иного рода отношениях, – например, в том, что они спят вместе, в совместном мочеиспускании и тому подобном, – и такое содержание легче схватить в словесных представлениях, чем то смутное, что связано с гениталиями.

* * *

Приходит время, когда эти ранние цветы увядают от морозов: ни одна из этих инцестуозных влюбленностей не может избегнуть судьбы вытеснения. Они подвергаются ему либо при тех или иных внешних поводах, которые можно проследить и которые вызывают некое разочарование, при нечаянных обидах, при нежеланном рождении нового брата или сестры, воспринимающемся как неверность, или же без подобных поводов, изнутри, – возможно, лишь в силу простого отсутствия своего завершения, по которому слишком долго томились. Нельзя не признать того, что поводы эти не являются действительными причинами, но этим любовным привязанностям суждено когда-то погибнуть, и мы не можем сказать отчего. Вероятнее всего, они угасают потому, что истекает их время, что дети вступают в какую-то новую фазу развития, на которой они должны повторить вытеснение инцестуозного выбора объекта, свершившееся в человеческой истории, подобно тому, как прежде они вынуждены были осуществить такой выбор. То, что бессознательно наличествует в качестве психического результата инцестуозных любовных импульсов, сознанием новой фазы уже не перенимается, а то в них, что уже было осознано, вновь оттесняется. Одновременно с этим процессом вытеснения появляется и сознание вины – его происхождение также неизвестно, но оно вне всяких сомнений связано с этими инцестуозными желаниями и обосновано их продолжением в бессознательном.

Фантазия периода инцестуозной любви гласила: «Он (отец) любит лишь меня, а не другого ребенка, ведь этого последнего он бьет». Сознание вины не умеет найти кары более жестокой, нежели инверсия этого триумфа: «Нет, он тебя не любит, поскольку он бьет тебя». Таким образом, фантазия второй фазы, [в которой фантазирующий ребенок] сам избивается отцом, могла бы оказаться непосредственным выражением сознания вины, в основе которого лежит теперь любовь к отцу. Она сделалась, следовательно, мазохистской; насколько мне известно, так всегда бывает, сознание вины всякий раз оказывается тем фактором, который превращает садизм в мазохизм. Этим, однако, содержание мазохизма не исчерпывается. Сознание вины не может овладеть полем в одиночку; что-то должно перепасть и на долю

любовного импульса. Вспомним, что речь идет о детях, у которых садистская компонента смогла выступить на первый план преждевременно и изолированно в силу конституциональных причин. Нам нет нужды оставлять эту точку зрения. Именно этим детям особенно легко осуществить возврат к дагенитальной, садистско-аналльной организации сексуальной жизни. Когда едва достигнутую генитальную организацию поражает вытеснение, отсюда вытекает не только то, что всякое психическое представление инцестуозной любви становится или остается бессознательным, но также и то, что сама генитальная организация претерпевает некое регрессивное понижение. «Отец любит меня» подразумевалось в генитальном смысле; регрессия превращает это в «Отец бьет меня (я избиваюсь отцом)». Это избиение – встреча сознания вины и эротики; оно есть не только кара за запретное генитальное отношение, но и регрессивное его замещение, и из этого последнего источника черпает оно то либидинозное возбуждение, которое отныне плотно с ним смыкается и находит разрядку в актах онанизма. Только в этом и заключается сущность мазохизма.

Фантазия второй фазы, [в которой фантазирующий] сам избивается отцом, остается, как правило, бессознательной – по-видимому, вследствие интенсивности вытеснения. Я, однако, не нахожу объяснений тому, что в одном из шести моих случаев (мужчина) имело место сознательное воспоминание о ней. Этот ныне взрослый мужчина ясно сохранил в памяти то обстоятельство, что в своей онанистической деятельности он представлял себе, будто его бьет мать; впрочем, он часто заменял свою собственную мать материами школьных товарищей или другими женщинами, схожими с нею в каких-то отношениях. Нельзя забывать о том, что при трансформации инцестуозной фантазии мальчика в соответствующую ей мазохистскую происходит на одно превращение больше, чем в случае девочки, а именно – замещение активности пассивностью, и это «больше», увеличивающее искажение, может защитить фантазию и не дать ей остьаться бессознательной в результате вытеснения. Таким образом, сознанию вины вместо вытеснения оказалось достаточно регрессии; в женских случаях сознание вины, – может быть, более взыскательное само по себе, – было бы умиротворено лишь взаимодействием обоих факторов [регрессии и вытеснения].

В двух из четырех моих женских случаев над мазохистской фантазией битья образовалась искусственная, весьма значимая для жизни пациенток надстройка дневных грез, которой выпадала функция обеспечивать им возможность испытывать чувство удовлетворенного возбуждения и при отказе от акта онанизма. В одном из этих случаев содержание (быть избиваемой отцом) смогло отважиться вновь проникнуть в сознание, когда собственное Я [фантазирующей] сделалось неузнаваемым благодаря легкому переодеванию. Герой этих вымыслов, как правило, избивался отцом, позднее – лишь наказывался и унижался и т. д.

* * *

Я, однако, еще раз повторяю: как правило, фантазия остается бессознательной и должна реконструироваться лишь в анализе. Это, возможно, позволяет признать правоту тех пациенток, которые склонны вспоминать о том, что онанизм появился у них раньше фантазии битья третьей фазы (сейчас мы поговорим и о ней); последняя добавилась будто бы лишь позднее, может быть, под впечатлением от школьных сцен [избиения детей]. Всякий раз, как мы принимали на веру эти сведения, мы были склонны предположить, что онанизм первоначально находился под господством бессознательных фантазий, позже замещенных сознательными.

В качестве подобного заместителя мы понимаем тогда известную фантазию битья третьей фазы, окончательное ее оформление, когда фантазирующий ребенок предстает самое большее как зритель, отец же сохраняется в обличье учителя или какого-то другого начальника. Фантазия, схожая теперь с фантазией первой фазы, как будто вновь вернулась в

сферу садизма. Создается впечатление, что в положении «Отец бьет ребенка, он любит лишь меня» акцент смешается на первую часть, после того как вторая подверглась вытеснению. Но садистской является только форма этой фантазии, удовлетворение же, которое из нее извлекается, носит мазохистский характер, ее значение заключается в том, что она перенимает либидинозную загрузку вытесненной части, а вместе с ней – и сознание вины, примыкающее к содержанию [фантазии]. Все множество каких-то неопределенных детей, избиваемых учителем, является все-таки лишь замещением собственной личности [фантазирующего ребенка].

Здесь впервые проявляется и нечто вроде постоянства пола у служащих фантазии лиц. Избиваемые дети – почти всегда мальчики в фантазиях как девочек, так и мальчиков. Эта характерная черта естественно объясняется не соперничеством полов, ибо тогда в фантазиях мальчиков должны были бы избиваться девочки; она также не имеет никакого отношения к полу ненавистного ребенка первой фазы, но указывает на одно осложняющее обстоятельство у девочек. Когда они отворачиваются от инцестуозной любви к отцу с ее генитальным смыслом, они вообще с легкостью порывают со своей женской ролью, оживляют свой «комплекс мужественности» (ван Офейсен) и впредь желают быть исключительно мальчиками. Поэтому и мальчики для битья их [фантазий], представляющие их самих, – это именно мальчики. В обоих случаях с дневными грезами – один поднялся чуть ли не до уровня поэзии – героями выступали всегда лишь молодые люди, женщины же вообще не появлялись в этих творениях [фантазии] и лишь по прошествии многих лет допускались на какие-то второстепенные роли.

* * *

Я надеюсь, что изложил свои аналитические наблюдения достаточно детально, и прошу лишь еще обратить внимание на то, что столь часто упоминавшиеся шесть случаев не исчерпывают моего материала: подобно другим аналитикам, я располагаю гораздо большим числом менее исследованных случаев. Эти наблюдения могут быть использованы в нескольких направлениях: для объяснения генезиса извращений вообще и мазохизма в частности, а также для оценки той роли, которую играет в динамике невроза половое различие.

Наиболее заметный результат подобного обсуждения касается вопроса о происхождении извращений. Хотя ничего не меняется в той точке зрения, согласно которой на передний план здесь выдвигается конституциональное усиление или преждевременность одной сексуальной компоненты, этим еще не все сказано. Извращение не стоит уже изолированно в сексуальной жизни ребенка, но встраивается во взаимосвязь типичных – чтобы не сказать нормальных процессов развития. Оно соотносится с инцестуозным выбором объекта ребенка, с его эдиповым комплексом, впервые пропаивает на почве этого комплекса, а когда тот ломается, извращение часто бывает единственным, что от него остается, выступая в качестве наследника его либидинозного бремени и обременяя тем сознанием вины, которое к нему примыкает. В конце концов ненормальная сексуальная конституция показала свою силу в том, что потеснила эдипов комплекс в особенном направлении и принудила его сохранить после себя некое необычное остаточное явление.

Как известно, детское извращение может стать фундаментом для обладающего тем же смыслом и остающегося на всю жизнь извращения, поглощающего всю сексуальную жизнь человека, но оно может и прерваться, сохранившись на заднем плане сексуального развития, у которого оно тогда, однако, отбирает известное количество энергии. Первый случай был известен еще в доаналитические времена, но пропасть, отделяющая его от второго случая, заполняется лишь с помощью аналитического исследования подобных развитых извращений. А именно, мы достаточно часто обнаруживаем, что эти извращенцы, обычно в пубертатный период, сделали попытку начать нормальную сексуальную деятельность. Попытка эта, однако, была недостаточно решительна, и пациент оставлял ее, столкнувшись с

первыми препятствиями, в которых никогда нет недостатка, и тогда уже окончательно хватался за свою инфантильную фиксацию.

Естественно, было бы важно выяснить, вправе ли мы постулировать происхождение извращений из эдипова комплекса как некий общий принцип. Хотя решение этого вопроса не может быть принято без дальнейших исследований, это не представляется невозможным. Если мы вспомним анамнезы, полученные из извращений взрослых, мы заметим, что задающее масштаб впечатление, «первое переживание» всех этих извращенцев, фетишистов и тому подобных лиц почти никогда не относится к периоду, предшествующему шестому году жизни. Примерно в этом возрасте господство эдипова комплекса, однако, уже миновало; пришедшее на память и столь загадочным образом действенное переживание вполне могло бы представлять собой его наследие. Соотношения между ним и вытесненным теперь комплексом должны были оставаться темными, пока анализ не пролил свет на период, предшествующий первому «патогенному» впечатлению. Можно рассудить теперь, сколь мало ценности имеет, например, утверждение о врожденной гомосексуальности, опирающееся на сообщение о том, что пациент уже с восьми– или шестилетнего возраста испытывал будто бы склонность лишь к лицам своего пола.

Если же выведение извращений из эдипова комплекса можно установить как общий принцип, тогда наша оценка его значения получает новое подтверждение. Ведь по нашему мнению, эдипов комплекс есть, собственно, зародыш неврозов, а достигающая в нем апогея инфантильная сексуальность – действительное условие неврозов, и то, что остается от него в бессознательном, представляет собой предрасположение для позднейшего невротического заболевания взрослого. Тогда фантазия битья и прочие перверсивные фиксации также оказались бы лишь какими-то осадками эдипова комплекса, как бы некоторыми рубцами, оставшимися после того, как процесс уже закончился, – совсем как пресловутое «чувство неполноценности», также соответствующее подобному нарциссическому рубцу.

Это характерное для невротика бредовое чувство своей ничтожности, как известно, не захватывает его всего и вполне уживается с переоценкой собственной персоны, питающейся из других источников.

О происхождении самого эдипова комплекса и о выпавшей человеку, очевидно, единственному среди всех животных, судьбе дважды начинать свою сексуальную жизнь – сначала, как и все другие создания, в раннем детстве, а затем вновь, после долгого перерыва, в пубертатный период, – обо всем том, что связано с его «архаическим наследием», я уже высказался в другом месте и не намерен вдаваться в это здесь.

* * *

На генезис мазохизма обсуждение наших фантазий битья проливает лишь очень скучный свет. Прежде всего как будто подтверждается тот факт, что мазохизм не является выражением первичного влечения, но возникает в силу обращения садизма против собственной личности, т. е., благодаря регрессии от объекта к «Я». Влечения, обладающие пассивной целью, следует допустить с самого начала, особенно у женщины, но пассивностью мазохизм еще не исчерпывается; он обладает еще тем характером неудовольствия, который столь необычен при удовлетворении влечения. Превращение садизма в мазохизм происходит, как нам кажется, под влиянием участвующего в акте вытеснения сознания вины. Вытеснение, таким образом, выражается здесь в тройком эффекте: оно делает бессознательными результаты генитальной организации; саму ее принуждает к регрессии на более низкую садистско-анальную ступень; и превращает садизм этой ступени в пассивный, в известном смысле опять-таки нарциссический, мазохизм. Второе из трех этих следствий делается возможным благодаря предполагаемой в этих случаях слабости генитальной организации; третье делается необходимым потому, что сознание вины выказывает по отношению к садизму такое же неодобрение, как и к генитально понятому инцестуозному выбору объекта. Откуда берется само сознание вины,

анализ [наших случаев] опять же не говорит. Его, как кажется, приносит с собой новая фаза, в которую вступает ребенок, и если оно отныне остается, то соответствует такому же рубцовому образованию, каким является чувство неполноценности. В соответствии с нашей все еще ненадежной ориентировкой в структуре Я, мы бы соотнесли это сознание вины с той инстанцией, которая, в качестве критической совести, противостоит остальному Я, порождает в сновидении Зильбереровский функциональный феномен и отсоединяется от Я при бреде поднадзорности.

По ходу дела мы хотим также заметить, что анализ рассматриваемых здесь детских извращений помогает также решить и одну старую загадку, которая, впрочем, всегда мучила скорее не аналитиков, но тех, кто находился вне анализа. Еще не так давно, однако, сам Э. Блейер признал примечательным и необъяснимым фактом то, что онанизм обращается невротиками в некое средоточие их сознания вины. Мы уже давно предположили, что это сознание вины подразумевает онанизм раннего детства, а не пубертатного периода, и что оно должно, большей частью, соотноситься не с актом онанизма, но с лежащей в его основе, хотя и бессознательной, фантазией – [восходящей], стало быть, к эдипову комплексу.

Я уже сказал, какое значение получает третья, с виду садистская, фаза фантазии битья в качестве носительницы побуждающего к онанизму возбуждения и к какой деятельности фантазии, частично продолжающей в том же духе, частично упраздняющей [онанизм], компенсируя его чем-то иным, эта фаза обычно толкает. Однако несравненно важнее вторая, бессознательная и мазохистская, фаза – фантазия об избиении отцом самого фантазирующего. И не только потому, что она продолжает действовать через посредство замещающей ее [фазы]: мы можем также проследить и такие воздействия на характер, которые непосредственно выводятся из ее бессознательной версии. Люди, вынашивающие такую фантазию, развивают в себе особую чувствительность и раздражимость по отношению к людям, которых они могут встроить в свой отцовский ряд; они легко дают себя обидеть и производят таким образом реализацию представленной в фантазии ситуации, будто их избивает отец, на горе и во вред себе. Я бы не удивился, если когда-либо удалось бы доказать, что та же самая фантазия лежит в основе параноического бреда кляузничества.

* * *

Описание инфантильных фантазий битья оказалось бы совершенно необозримым, если бы я не ограничил его, за некоторыми исключениями, случаями лиц женского пола. Я вкратце повторяю результаты. Фантазия битья у девочки проходит три фазы, из которых первая и последняя приходят на память как сознательные, а средняя остается бессознательной. Обе сознательные стадии представляются садистскими, средняя же, бессознательная – несомненно мазохистской природы; ее содержание – быть избиваемой отцом, с ней связаны известный либидинозный заряд и сознание вины. Избиваемый ребенок в обеих сознательных фантазиях – всегда кто-то другой, в фантазии средней фазы лишь собственная личность фантазирующего; в третьей, сознательной, фазе со значительным перевесом избиваемыми оказываются исключительно мальчики. Избивающее лицо сначала отец, позднее – какой-то его заместитель из отцовского ряда. Бессознательная фантазия средней фазы первоначально имела генитальное значение, она произошла из инцестуозного желания быть любимым отцом, [желания], подвергнувшегося вытеснению и регрессии. С этим, с виду шатким соотношением связан тот факт, что девочки между второй и третьей фазами меняют свой пол, воображая себя в своих фантазиях мальчиками.

Я продвинулся не так далеко в исследовании фантазий битья у мальчиков, может быть, лишь в силу неблагоприятности материала. Понятным образом, я ожидал полной аналогии между ситуациями мальчиков и девочек, причем у первых на место отца в фантазии должна была заступить мать. Ожидание это как будто подтвердилось, поскольку содержанием соответствующей фантазии мальчика было избиение матерью (позднее – каким-то замещающим ее лицом). Однако эта фантазия, в которой собственная личность

фантазирующего сохранялась как объект, отличалась от второй фазы у девочек тем, что могла быть сознательной. Если бы нам захотелось поэтому приравнять ее, скорее, к третьей фазе у девочек, то в качестве нового различия осталось бы то обстоятельство, что собственная личность мальчика не замещалась многими, неопределенными, посторонними [детьми], и менее всего – множеством девочек. Ожидание какого-то полного параллелизма оказалось, таким образом, обманутым.

Мой материал, основанный на мужских случаях, охватывал лишь немногих лиц, у которых инфантильная фантазия битья не сопровождалась бы каким-либо иным тяжелым нарушением сексуальной деятельности; большинство, напротив, следовало обозначить как подлинных мазохистов в смысле сексуального извращения. Это были те, кто находил сексуальное удовлетворение исключительно в онанизме, сопровождавшемся мазохистскими фантазиями, или же те, кому удалось таким образом сцепить мазохизм и генитальную деятельность, что при мазохистских инсценировках и таких же условиях они добивались эрекции и эякуляции или оказывались способны провести нормальное половое сношение. Кроме того, был еще один более редкий случай: мазохисту в его первверсивной деятельности мешали навязчивые представления, возникавшие с невыносимой напористостью. У удовлетворенных извращенцев редко бывает причина обращаться к анализу; но для трех указанных групп мазохистов могут выдаться веские причины отправиться к аналитику. Мазохистский онанист находит себя абсолютным импотентом, если он в конце концов все-таки попробует осуществить сношение с женщиной, а тот, кто до сих пор осуществлял сношение, прибегая к помощи представлений и инсценировок, может внезапно сделать для себя открытие, что это столь удобное для него сочетание ему заказано и гениталии не реагируют больше на мазохистское раздражение. Мы привыкли с уверенностью обещать выздоровление психическим импотентам, попадающим нам в руки, но даже в этом прогнозе мы должны были быть посдержанней до тех пор, пока нам не известна динамика расстройства. Это очень неприятная неожиданность – когда анализ вскрывает в качестве причины «чисто психической» импотенции какую-то отборную, возможно, издавна укоренившуюся, мазохистскую установку.



Дама. Художник Отто Дикс

У этих мазохистов-мужчин открывается, однако, одно обстоятельство, которое заставляет нас до поры до времени не развивать аналогию с положением дел у женщины, но рассмотреть эту ситуацию самостоятельно. А именно: оказывается, что мужчины, как правило, ставят себя в мазохистских фантазиях, равно как и в инсценировках, необходимых для их реализации, на место женщины, — что, следовательно, мазохизм их совпадает с женственной установкой. Это легко доказать деталями фантазий; многие пациенты, однако, знают об этом и сами, высказывая это как некую субъективную достоверность. Здесь ничего не меняется и тогда, когда игровое убранство мазохистских сцен требует фиктивного характера какого-нибудь озорного мальчишки, пажа или ученика, который должен подвергнуться наказанию. А вот наказывающие лица, как в фантазиях, так и в инсценировках — это всякий раз женщины. Это довольно-таки сильно сбивает с толку; хотелось бы выяснить, основывается ли уже мазохизм инфантильной фантазии битья на подобной женственной установке.

* * *

Оставим в стороне труднообъяснимые обстоятельства мазохизма взрослых и обратимся к инфантильной фантазии битья лиц мужского пола. Здесь анализ наиболее раннего периода

детства вновь позволяет нам сделать одно поразительное открытие: сознательная или осознаваемая фантазия, содержание которой – избиение матерью, не является первичной. У нее есть предварительная стадия, которая, как правило, бессознательна и содержание которой выражается следующим образом: я избиваюсь отцом. Эта предварительная стадия, таким образом, действительно соответствует второй фазе фантазии девочки. Известная и сознательная фантазия «я избиваюсь матерью» занимает место третьей фазы у девочки, в которой, как уже упомянуто, объектами избиения выступают какие-то неизвестные мальчики. Я не смог обнаружить у мальчика какую-либо предварительную стадию садистской природы, сопоставимую с первой фазой у девочки, но я не хочу высказывать здесь окончательного суждения в пользу отсутствия таковой, поскольку вижу возможность существования неких более сложных типов.

Быть объектом избиения в мужской фантазии, как я ее кратко и, надеюсь, не вводя никого в заблуждение, назову, означает также быть объектом любви в генитальном смысле, когда это последнее состояние понижается посредством регрессии. Бессознательная мужская фантазия, следовательно, первоначально звучала не «я избиваюсь отцом», как мы это только что предварительно постулировали, но, скорее, «я любим отцом». Посредством известного процесса она была обращена в сознательную фантазию «я избиваюсь матерью». Фантазия битья мальчика является, таким образом, пассивной с самого начала, она действительно происходит от женственной установки по отношению к отцу. Как и женская [фантазия девочки], она тоже соответствует эдипову комплексу, но вот от ожидавшегося нами параллелизма между той и другой следует отказаться ради общности иного рода: в обоих случаях фантазия битья выводится из инцестуозной привязанности к отцу.

Для большей наглядности я добавлю здесь другие сходства и различия между фантазиями битья [лиц] обоих полов. У девочки бессознательная мазохистская фантазия идет от нормальной эдиповской установки, у мальчика от извращенной, избирающей объектом любви отца. У девочки фантазия имеет предварительную ступень (первую фазу), на которой избиение предстает в своем индифферентном значении и касается лица, вызывающего ревность и ненависть; у мальчика и то и другое выпадает, но именно это различие можно было бы устраниТЬ при каком-то более удачном наблюдении. При переходе к сознательной фантазии, замещающей [бессознательную], девочка сохраняет в неприкосновенности личность отца и, следовательно, пол избивающего лица; она, однако, меняет личность и пол избиваемого, так что в конечном счете оказывается, что некий мужчина избивает детей мужского пола; мальчик, напротив, меняет личность и пол избивающего, замещая отца матерью, и сохраняет в неприкосновенности собственную персону, так что в конечном счете лицо избивающее и лицо избиваемое оказываются разнополыми. У девочек изначально мазохистская (пассивная) интуиция обратилась благодаря вытеснению в садистскую, сексуальный характер которой весьма размыт, у мальчика она осталась мазохистской и в силу полового различия между избивающим и избиваемым лицами сохранила больше сходства с изначальной, имевшей генитальный смысл, фантазией. Мальчик благодаря вытеснению и переработке своей бессознательной фантазии избегает гомосексуальности; примечательным в его позднейшей сознательной фантазии является то, что своим содержанием она имеет женственную установку при отсутствии гомосексуального выбора объекта. Девочка, напротив, избегает благодаря тому же самому процессу требований любовной жизни вообще, в своих фантазиях воображает себя мужчиной, не делаясь сама по-мужски активной, и уже лишь в качестве зрителя присутствует при том акте, которым замещается у нее половой акт.

Мы с полным основанием можем допустить, что в результате вытеснения изначальной бессознательной фантазии изменяется не слишком многое. Все то, что для сознания оказывается вытесненным и замещенным, в бессознательном сохраняется и остается дееспособным. Иначе обстоит дело с эффектом регрессии на более раннюю ступень сексуальной организации. О ней мы вправе полагать, что она изменяет и положение дел в бессознательном, так что после вытеснения у обоих полов в бессознательном остается если и

не (пассивная) фантазия быть любимым отцом, то все же мазохистская фантазия быть им избиваемым. Имеется достаточно признаков и того, что вытеснение достигло своей цели лишь очень несовершенно. Мальчик, который хотел избежать гомосексуального выбора объекта и не поменял свой пол, ощущает себя, тем не менее, в своей сознательной фантазии женщиной и наделяет бывающих женщин мужскими атрибутами и свойствами. Девочка, которая отказалась даже от своего пола и в целом гораздо более основательно провела работу вытеснения, но, тем не менее, не отделалась от отца, не доверяет избиение себе самой и, поскольку сама она превратилась в мальчика, объектами избиения оставляет, главным образом, мальчиков.

* * *

Я знаю, что описанные здесь различия между фантазиями быть обоих полов объяснены недостаточно, но не предпринимаю попытки распутать все эти сложности, проследив их зависимость от других факторов, потому что не считаю исчерпывающим сам материал наблюдения. Насколько его, однако, хватает, я хотел бы использовать этот материал для проверки двух теорий, которые, противостоя друг другу, обе затрагивают отношение вытеснения кциальному характеру и, каждая по-своему, изображают это отношение как весьма тесное. Я исхожу при этом из того, что всегда считал обе теории некорректными и вводящими в заблуждение.

Первая теория анонимна; много лет назад ее изложил мне один коллега, с которым мы тогда были дружны [Вильгельм Флисс]. Ее размашистая простота действует столь подкупающе, что остается лишь с удивлением вопрошать, отчего же с тех пор она оказалась представлена в литературе лишь какими-то отдельными намеками. Опирается она на бисексуальную конституцию человеческих индивидов и утверждает, что у каждого из них мотивом вытеснения выступает борьба между половыми характерами. Пол, развитый сильнее и преобладающий в личности, будто бы вытесняет в бессознательное душевное представительство подчиненного пола. Ядром бессознательного, вытесненного, у каждого человека оказывается наличествующее в нем противополовое. Это может обладать каким-то ощутимым смыслом лишь в том случае, если мы допустим, что пол человека определяется развитием его гениталий, – иначе будет неясно, какой же пол в человеке сильнее, и мы рискуем вывести то, что должно служить нам отправным пунктом исследования, из его результатов. Короче говоря, у мужчины бессознательное вытесненное сводится к женским инстинктивным импульсам; у женщины все наоборот.

Вторая теория – более недавнего происхождения; она согласуется с первой в том, что опять-таки изображает борьбу между двумя полами решающим фактором вытеснения. Во всем остальном она должна быть противопоставлена первой; опирается она не на биологические, а на социологические факты. Содержание этой теории «мужского протеста», сформулированной Альфредом Адлером, состоит в том, что каждый индивид будто бы не желает оставаться на неполноценной «женской линии» и стремится к единственному удовлетворительной мужской линии. Исходя из этого мужского протеста и делая обобщения, Адлер объясняет формирование характера и невроза. К сожалению, эти два процесса – несмотря на то, что они определенно должны быть разведены, – различаются Адлером столь нечетко, а факту вытеснения вообще уделяется столь мало внимания, что мы рискуем впасть в заблуждение, если попытаемся применить учение о мужском протесте к вытеснению. Я полагаю, что эта попытка привела бы к тому, что мужской протест, стремление сойти с женской линии, был бы понят как неизменный мотив вытеснения. Вытесняющее всегда оказывалось бы тогда мужским инстинктивным импульсом, вытесненное – женским. Однако и симптомом оказался бы результатом какого-то женского импульса, поскольку мы не можем отказаться от той точки зрения, согласно которой характер симптома определяется тем, что он выступает заменителем вытесненного, проведенным в жизнь наперекор вытеснению.

Проверим теперь обе теории, общей чертой которых является, так сказать, сексуализация процесса вытеснения, на примере исследовавшейся здесь фантазии битья. Изначальная фантазия «я избиваюсь отцом» соответствует у мальчика женственной установке, являясь, следовательно, выражением его противоположной предрасположенности. Если она подвергается вытеснению, тогда первая теория, берущая за правило то, что противоположное совпадает с вытесненным, оказывается, по-видимому, верной. Однако нашим ожиданиям мало соответствует то обстоятельство, что сознательная фаза, всплывающая после свершившегося вытеснения, опять-таки обнаруживает женственную установку, только на сей раз – по отношению к матери. Нам, впрочем, не хотелось бы углубляться в сомнения там, где решение лежит так близко. Изначальная фантазия девочки «я избиваема (то есть – любима) отцом» все же определенно соответствует, в качестве женственной установки, преобладающему, явному ее полу: она, следовательно, в соответствии с данной теорией, должна избежать вытеснения, ей нет нужды становиться бессознательной. В действительности, однако, она таковой становится и замещается сознательной фантазией, отклоняющей очевидный половой характер [фантазирующей]. Теория эта, таким образом, бесполезна для понимания фантазий битья и ими опровергается. Тут можно было бы возразить, что те, у кого возникают эти фантазии битья, и кто испытывает подобную судьбу, являются именно женоподобными мальчиками и мужеподобными девочками, или что ответственность за возникновение пассивной фантазии у мальчика и ее вытеснение у девочки следует возложить на черты женственности в мальчике и мужественности в девочке. Мы бы, наверное, согласились с подобной точкой зрения, но постулируемое соотношение между явным половым характером и отбором того, что предназначается для вытеснения, оказалось бы из-за этого не менее несостоительным. В сущности, мы видим лишь то, что у индивидов мужского и женского пола налицо как мужские, так и женские инстинктивные импульсы, которые в равной степени могут оказаться бессознательными в результате вытеснения.

Гораздо лучше, как кажется, выдерживает проверку на фантазиях битья теория мужского протеста. Как у мальчика, так и у девочки фантазия битья соответствует женственной установке, следовательно – пребыванию на женской линии, и оба пола спешат при помощи вытеснения этой фантазии отделаться от подобной установки. Впрочем, мужской протест достигает как будто полного успеха лишь у девочки: тут мы обнаруживаем прямо-таки идеальный пример действия мужского протеста. У мальчика результат не всецело удовлетворителен, женская линия им не покидается, в своей сознательной мазохистской фантазии мальчик определенно не оказывается «сверху». Это соответствует выводимому из данной теории ожиданию, если мы распознаем в этой фантазии некий симптом, возникший в результате того, что мужской протест потерпел неудачу. Нам, однако, мешает то обстоятельство, что возникающая в силу вытеснения фантазия девочки также имеет ценность и значение симптома. Но ведь именно здесь, где мужской протест полностью осуществил свой замысел, условия для образования симптома должны были бы отсутствовать.

* * *

Прежде чем на основании этой сложности мы выдвинем предположение о том, что вся концепция мужского протеста неадекватна проблемам неврозов и извращений, что ее применение к ним не принесет никаких плодов, мы переведем свое внимание с пассивных фантазий битья на другие инстинктивные манифестации детской сексуальной жизни, которые равным образом подлежат вытеснению. Ведь никто не может сомневаться в том, что имеются и такие желания и фантазии, которые с самого начала придерживаются мужской линии и представляют собой выражение мужских инстинктивных импульсов – например, садистские тенденции или же выводящиеся из нормального эдипова комплекса влечение мальчика к своей матери. Столь же мало сомнений вызывает и то, что их также постигнет

вытеснение; если мужской протест с успехом мог объяснить вытеснение пассивных – позднее мазохистских – фантазий, то именно поэтому он совершенно бесполезен применительно к прямо противоположному случаю фантазий активных. Это означает, что учение о мужском протесте вообще несовместимо с фактом вытеснения. Лишь тот, кто готов отбросить все психологические завоевания, которые были сделаны начиная с первого катартического лечения Брейера [случай Анны О.] и благодаря ему, может надеяться на то, что принцип мужского протesta приобретет какое-то значение для объяснения неврозов и извращений.

Психоаналитическая теория, опирающаяся на наблюдение, твердо настаивает на том, что мотивы вытеснения не могут сексуализироваться. Ядро душевного бессознательного образует архаическое наследие человека, и процессу вытеснения подлежит в нем то, что всегда должно оставляться позади при продвижении к дальнейшим фазам развития как несовместимое с новым или непригодное и даже вредное для него. Этот отбор в одной группе влечений удается лучше, нежели в другой.

Последние – сексуальные – влечения, в силу особых обстоятельств, на которые уже много раз указывалось, способны расстроить замысел вытеснения и добиться того, чтобы их представляли какие-то нарушающие [психическое равновесие] заместительные образования. Поэтому подлежащая вытеснению инфантильная сексуальность является главной инстинктивной силой формирования симптомов, а существенная часть ее содержания, эдипов комплекс, – ядерным комплексом неврозов.

Сексуальные отклонения

Факт половой потребности у человека и животного выражают в биологии тем, что у них предполагается «половое влечение». При этом допускают аналогию с влечением к принятию пищи – голодом. Соответствующего слову голод обозначения не имеется в народном языке; наука пользуется словом «либидо».

Общепринятая теория полового влечения больше всего соответствует поэтической сказке о разделении человека на две половины – мужчину и женщину, – стремящихся вновь соединиться в любви, поэтому получается впечатление большой неожиданности, когда слышишь, что встречаются мужчины, сексуальным объектом которых является не женщина, а мужчина, и женщины, для которых таким объектом является не мужчина, а женщина. Таких лиц называют извращено сексуальными или, лучше, инвертированными, а самый факт – инверзией. Число таких лиц очень значительно, хотя точно установить его затруднительно.

Эти лица ведут себя в различных направлениях различно.

а) Они абсолютно инвертированы, т. е. их сексуальный объект может быть только одного с ними пола, между тем как противоположный пол никогда не может у них быть предметом полового желания, а оставляет их холодными или даже вызывает у них половое отвращение. Такие мужчины оказываются благодаря отвращению неспособными совершить нормальный половой акт или при выполнении его не испытывают никакого наслаждения.

б) Они амфигенно инвертированы (психосексуальные гермафродиты), т. е. их сексуальный объект может принадлежать как однаковому с ним, так и другому полу; инверзия, следовательно, лишена характера исключительности.

с) Они случайно инвертированы, т. е. при известных внешних условиях, среди которых на первом месте стоят недоступность нормального полового объекта и подражание. Они могут избрать сексуальным объектом лицо одинакового с ними пола и в таком сексуальном акте получить удовлетворение.

Инвертированные проявляют далее различное отношение в своем суждении об особенностях своего полового влечения. Одни из них относятся к инверзии как к чему-то само собой понятному, подобно тому, как нормальный относится к проявлению своего либидо, и энергично отстаивают ее равноправие наряду с нормальным. Другие же возмущаются фактом своей инверзии и ощущают ее как болезненную навязчивость.

Другие вариации касаются временных отношений. Особенность инверзии существует у индивида с давних пор, насколько хватает его воспоминаний, или она проявилась у него только в определенный момент до или после половой зрелости. Этот характер сохраняется на всю жизнь или временно исчезает или составляет отдельный эпизод на пути нормального развития. Он может также проявиться в позднем возрасте по истечении длительного периода нормальной половой деятельности. Наблюдалось также периодическое колебание между нормальным и инвертированным сексуальным объектом. Особенно интересны случаи, в которых либидо меняется в смысле инверзии после того, как был приобретен мучительный опыт с нормальным сексуальным объектом.

Эти различные ряды вариаций в общем существуют независимо один от другого. Относительно крайней формы можно всегда утверждать, что инверзия существовала уже с очень раннего возраста, и что лицо это вполне мирится с этой особенностью.

Много авторов отказались бы объединить в одну группу перечисленные здесь случаи и предпочли бы подчеркивать различие в пределах этой группы вместо свойственного всем группам общего; это зависит от предпочтаемого ими взгляда на инверзию. Однако, как ни верны такие разделения, все же необходимо признать, что имеется множество переходных ступеней, так что как само собой напрашивается расположение в ряды.

Первая оценка инверзии выразилась во взгляде, что она является врожденным признаком нервной дегенерации; это вполне соответствовало тому факту, что наблюдатели-врачи впервые встретились с ней у нервнобольных или у лиц, производивших впечатление больных. Эта характеристика содержит два указания, которые необходимо рассматривать одно независимо от другого: врожденность и дегенерацию.

Относительно дегенерации возникает возражение, которое вообще относится к неуместному применению этого слова. Вошло в обычай относить к дегенерации всякого рода болезненные проявления не непосредственно травматического или инфекционного происхождения. Подразделение дегенераторов, сделанное Magnan'ом, дало возможность в самых совершенных проявлениях нервной деятельности не исключать применения понятия дегенерации. При таких условиях позволительно спросить, какой вообще смысл и какое новое содержание имеется в оценке слова «дегенерация». Кажется более целесообразным не говорить о дегенерации:

1) в случаях, когда нет нескольких тяжелых отклонений от нормы; 2) в случаях, когда работоспособность и жизнеспособность в общем тяжело не пострадали.

Много фактов указывают на то, что инвертированные не являются дегенератами в этом настоящем смысле:

1. Инверзия встречается у лиц, у которых не наблюдается никаких других серьезных уклонений от нормы.

2. Также у лиц, работоспособность которых не нарушена, которые отличаются даже особенно высоким интеллектуальным развитием и этической культурой.

3. Если не обращать внимания на пациентов врачебного опыта и стараться охватить более широкий кругозор, то в двух направлениях встречаешься с фактами, исключающими взгляд на инверзию, как на признак дегенерации.

а) Нужно принимать во внимание, что у древних народов на высшей ступени их культуры инверзия была частым явлением, почти институтом, связанным с важными функциями; б) она чрезвычайно распространена у многих диких и примитивных народов, между тем как понятие дегенерации применяется обыкновенно к высокой цивилизации (J. J. Bloch). Даже среди цивилизованных народов Европы климат и раса имеют самое большое влияние на распространение инверзии и на отношение к ней.

* * *

Относительное врожденной предрасположенности к сексуальным отклонениям можно сказать следующее. Вполне понятно, что врожденность приписывают только первому,

самому крайнему классу инвертированных, на основании уверений этих лиц, что ни в какой период жизни у них не проявлялось никакого другого направления полового влечения. Уже самый факт существования двух других классов, специально третьего, трудно соединить со взглядом о врожденном характере инверзии. Поэтому защитники этого взгляда склонны отделить группу абсолютно инвертированных от всех других, что имеет следствием отказ от обобщающего взгляда на инверзию. Инверзия по этому взгляду в целом ряде случаев имеет врожденный характер; а в других случаях она могла бы развиться иным способом.

В противоположность этому взгляду существует другой, согласно которому инверзия составляет приобретенный характер полового влечения. Взгляд этот основывается на следующем: 1) у многих (также абсолютно) инвертированных можно открыть подействовавшее в раннем периоде жизни сексуальное впечатление, длительным последствием которого оказывается гомосексуальная склонность; 2) у многих других можно указать на внешние благоприятствующие и противодействующие влияния жизни, приведшие раньше или позднее к фиксации инверзии (исключительное обращение в среде одинакового пола, совместный военный поход, содержание в тюрьме, опасности гетеросексуального общения, целибат, половая слабость и т. д.); 3) что инверзия может быть прекращена при помощи гипнотического внушения, что было бы удивительным при врожденном ее характере.

С точки зрения этого взгляда можно вообще оспаривать несомненность возможности врожденной инверзии. Можно возразить, что более подробные расспросы в случаях, которые относятся к врожденной инверзии, вероятно, также открыли бы переживание в раннем детстве, предопределившее направление либидо; это переживание не сохранилось только в сознательной памяти лица, но при соответствующем воздействии можно вызвать воспоминание о нем. По мнению этих авторов, инверзию следовало бы считать частым вариантом полового влечения, предопределенным некоторыми внешними условиями жизни.

Эта, по-видимому, утвердившаяся уверенность теряет почву от возражения, что многие люди испытывают, несомненно, подобные же сексуальные влияния (также в ранней юности: совращения, взаимный онанизм), не ставши вследствие этого инвертированными или не сделавшись ими навсегда. Таким образом, возникает предположение, что альтернатива: врожденный и приобретенный – или не полна, или не совсем соответствует имеющимся при инверзии обстоятельствам.

Однако ни положение, что инверзия врожденна, ни противоположное ему, что она приобретается, не объясняют сущности инверзии. В первом случае нужно выяснить, что именно в ней врожденного, если не принять самого грубого объяснения, что у человека при рождении имеется уже связь полового влечения с одним определенным сексуальным объектом. В противном случае спрашивается, достаточно ли разнообразных случайных влияний, чтобы объяснить возникновение инверзии без того, что в самом индивиде не шло кое-что навстречу этим влияниям. Отрицание этого последнего момента, согласно нашим прежним указаниям, недопустимо.

Для объяснения возможности сексуальной инверзии со времен Frank Lydstone, Kiernan и Chevalier пользуются ходом мыслей, содержащим новое противоречие общепринятым мнению. Согласно этому мнению, человек может быть или мужчиной, или женщиной. Но науке известны случаи, в которых половые признаки кажутся стертymi и благодаря этому затрудняется определение пола – сначала в области анатомии. Гениталии этих лиц соединяют в себе мужские и женские признаки (гермафродитизм). В редких случаях оба половые аппарата развиты один наряду с другим (истинный гермафродитизм); чаще всего находится двоякое уродство.

Замечательно в этих ненормальностях то, что они неожиданным образом облегчают понимание ненормального образования. Известная степень анатомического гермафродитизма принадлежит норме; у каждого нормально устроенного мужского и женского индивида имеются зачатки аппарата другого пола, сохранившиеся какrudиментарные органы без функции или преобразовавшиеся и взявшие на себя другие

функции.

* * *

Взгляд, вытекающий из этих давно известных анатомических фактов, состоит в допущении первоначального бисексуального предрасположения, переходящего в течение развития в моносексуальность с незначительными остатками другого пола.

Весьма естественно было перенести этот взгляд на психическую область и понимать инверсию в различных ее видах как выражение психического гермафродитизма. Чтобы решить вопрос, недоставало только постоянного совпадения инверсии с душевными и соматическими признаками гермафродитизма.

Однако это ожидание не оправдалось. Зависимость между предполагаемым психическим и легко доказуемым анатомическим гермафродитизмом нельзя представить себе такой тесной. Часто у инвертированных наблюдается вообще понижение полового влечения и незначительное анатомическое уродство органов. Это встречается часто, но никоим образом не всегда или хотя бы в большинстве случаев. Таким образом приходится признать, что инверсия и соматический гермафродитизм в общем не зависят друг от друга.

Далее придавалось большое значение так называемым вторичным и третичным признакам и подчеркивалось, что они часто встречаются у инвертированных. И в этом есть большая доля правды, но нельзя забывать, что вторичные и третичные половые признаки вообще встречаются довольно часто у другого пола и образуют таким образом намеки на двуполость, хотя половой объект не проявляет при этом изменений в смысле инверсии.

Психический гермафродитизм вылился бы в более телесные формы, если бы параллельно инверсии полового объекта шли, по крайней мере, изменения прочих душевных свойств, влечений и черт характера в смысле типичных для другого пола. Однако подобную инверсию характера можно встретить с некоторой регулярностью только у инвертированных женщин. У мужчин с инверзией соединяется полнейшее душевное мужество. Если настаивать на существовании душевного гермафродитизма, то необходимо прибавить, что в проявлениях его в различных областях замечается только незначительная противоположная условность. То же относится и к соматической двуполости; по Halban'у, единичные уродливости органов и вторичные половые привычки встречаются довольно независимо друг от друга...



Мастурбирующая женщина. Художник Густав Климт

Что касается учения о бисексуальности, то в своей самой грубой форме оно формулировано одним из защитников инвертированных мужчин следующим образом: женский мозг в мужском теле. Однако нам неизвестны признаки «женского мозга». Замена психологической проблемы анатомической в равной мере бессильна и не оправдываема. Объяснение, предложенное Krafft-Ebing'ом, кажется более точно выраженным, чем Ulrich'a, но по существу ничем от него не отличается. V.Krafft-Ebing полагает, что бисексуальное предрасположение награждает индивида как мужскими и женскими мозговыми центрами, так и соматическими половыми органами. Эти центры развиваются только в период наступления половой зрелости, большей частью под влиянием независимых от них по своему строению половых желез. Но к мужским и женским «центрам» применимо то же, что и к мужскому и женскому мозгу, и, кроме того, нам даже неизвестно, следует ли нам предполагать существование ограниченных частей мозга («центры») для половых функций, как, например, для речи.

Две мысли все же сохраняют свою силу после всех этих рассуждений: что для объяснения инверзии необходимо принимать во внимание бисексуальное предрасположение, но что нам только неизвестно, в чем, кроме анатомической его формы, состоит это предрасположение, и что дело тут идет о нарушениях, касающихся развития полового влечения. Так, теория психического гермафродитизма предполагает, что половой объект

инвертированных противоположен объекту нормальных. Инвертированный мужчина не может устоять перед очарованием, исходящим от мужских свойств тела и души, он сам себя чувствует женщиной и ищет мужчину.

Но хотя это и верно по отношению к целому ряду инвертированных, это далеко не составляет общего признака инверзии. Не подлежит никакому сомнению, что большая часть инвертированных мужчин сохраняет психический характер мужественности, обладает сравнительно немногими вторичными признаками другого пола и в своем половом объекте ищет в сущности женских психических черт. Если бы было иначе, то оставалось бы совершенно непонятным, для чего мужская проституция, предлагающая себя инвертированным, – теперь, как и в древности, – копирует во всех внешних формах платья и манеры женщин; ведь такое подражание должно было бы оскорблять идеал инвертированных. У греков, у которых в числе инвертированных встречаются самые мужественные мужчины, ясно, что не мужественный характер мальчика, а телесное приближение его к женскому типу, так же как и женские душевые свойства его, робость, сдержанность, потребность в посторонней помощи и в наставлении, разжигали любовь в мужчине. Как только мальчик становился взрослым, он не был уже больше половым объектом для женщины, а сам становился любителем мальчиков. Сексуальным объектом, следовательно, в этом, как и во многих других случаях, является не тот же пол, а соединение обоих половых признаков, компромисс между душевным движением, желающим мужчину и желающим женщину при сохранении условия мужественности тела (генеталий), так сказать отражения собственной бисексуальной природы.

Более определенными оказываются отношения у женщины, где активно инвертированные, особенно часть из них, обладают соматическими и душевными признаками мужчины и требуют женственности от своих половых объектов, хотя и здесь, при более близком знакомстве, вероятно, окажется большая пестрота отношений...

Важный факт, который нельзя забывать, состоит в том, что сексуальную цель при инверзиях никоим образом нельзя называть однородной. У мужчин половое общение регулятивно не совпадает с инверзией; мастурбация также часто составляет исключительную цель и ограничения сексуальной цели – вплоть до одних только излияний чувств – встречаются здесь даже чаще, чем при гетеросексуальной любви. И у женщин сексуальные цели инвертированных разнорядны; особенным предпочтением, по-видимому, пользуется прикосновение слизистой оболочки рта.

* * *

Хотя мы не чувствуем себя в силах дать удовлетворительное объяснение образованию инверзии на основании имеющегося до сих пор материала, мы замечаем, однако, что при этом исследовании пришли к взгляду, который может приобрести для нас большее значение, чем разрешение поставленной выше задачи. Мы обращаем внимание на то, что представляли себе связь сексуального влечения с сексуальным объектом слишком тесной. Опыт со случаями, считающимися ненормальными, показывает нам, что между сексуальным влечением и сексуальным объектом имеется спайка, которой нам грозит опасность не заметить при однообразии нормальных форм, в которых влечение как будто бы приносит от рождения с собой и объект. Это заставляет нас ослабить в наших мыслях связь между влечениями и объектом. Половое влечение, вероятно, сначала не зависит от объекта и не обязано своим возникновением его прелестям. Было бы безосновательно утверждать, что благодаря этим прекрасным опытам учение об инверзии приобретает новое основание и прежде всего ждать от них прямо нового пути к общему «излечению» гомосексуальности. W. Fliess вполне правильно подчеркнул, что эти экспериментальные опыты не обесценивают учения об общем бисексуальном врожденном предрасположении высших животных. Мне кажется скорее вероятным, что дальнейшие исследования подобного рода дадут прямое подтверждение предполагаемой бисексуальности.

Теория либидо. Возражения против концепции К. Г. Юнга

Анализ перверзий и психоневрозов убедил нас в том, что сексуальное возбуждение возникает не только из так называемых половых частей, но из всех органов тела. Мы выработали себе понятие о либидо, как о меняющейся количественной силе, которая может измерять все процессы и превращения в области сексуального возбуждения. Это либидо мы отличаем от энергии, которую следует положить вообще в основу душевных процессов, в отношении ее особого происхождения, и этим приписываем ей также особый качественный характер. Отделением либидинозной психической энергии от другой мы выражаем наше предположение, что сексуальные процессы организма отличаются от процессов питания организма особым химизмом. У нас, таким образом, возникает представление об определенном количестве либидо, психически представленное, как мы говорили, я-либидо, продукция которого, увеличение или уменьшение, распределение и сдвиг, должна дать нам возможность объяснить наблюдаемые психосексуальные феномены.

Но аналитическое исследование этого «я-либидо» становится доступным только тогда, когда это либидо нашло психическое применение, чтобы привязаться к сексуальным объектам, т. е. превратиться в объект-либидо. Мы видим тогда, «как оно концентрируется на объектах, фиксируется на них или оставляет эти объекты, переходит с них на другие и с этих позиций направляет сексуальную деятельность индивида, которая ведет к удовлетворению, т. е. частичному, временному потуханию либидо. Психоанализ так называемых неврозов перенесения (истерия, невроз навязчивости) дает нам возможность убедиться в этом.

Относительно судеб объект-либидо мы можем еще узнать, что, будучи отнятым от объектов, оно остается витающим в состоянии напряжения и, наконец, возвращается в «я», так что оно снова становится «я-либидо». Я-либидо в противоположность к объект-либидо мы называем также нарцистическим либидо. Из психоанализа мы как через границу, переступить которую не дозволено, глядим в водоворот нарцистического либидо, и у нас составляется представление об отношении обеих форм либидо. Нарцистическое либидо, или либидо «я», кажется нам большим резервуаром, из которого высываются привязанности к объектам, и в который они снова возвращаются; нарцистическая привязанность и либидо к «я» кажется состоянием, осуществленным в первом детстве, только прикрытым благодаря поздним его отросткам, но в сущности оставшимся неизменным за их спиной.

Задача теории либидо невротических и психотических заболеваний должна была бы состоять в том, чтобы выразить в терминах либидо все наблюдаемые феномены и предполагаемые процессы. Легко понять, что судьбы либидо будут при этом иметь самое большое значение, особенно в тех случаях, где дело идет об объяснении глубоких психотических заболеваний. Трудность состоит в таком случае в том, что метод нашего исследования, психоанализ, пока дает нам верные сведения только о превращениях объекта-либидо, а «я»-либидо он не может совершенно отделить от других действующих в «я» энергий. Дальнейшее развитие теории либидо пока поэтому возможно только спекулятивным путем. Но если, по примеру К. Г. Юнга, слишком расширить понятие либидо, отождествляя его вообще с двигающей психической силой, то благодаря этому пропадают завоевания всех психоаналитических наблюдений.

Отделение сексуальных влечений от других и вместе с тем ограничение понятия либидо этими первыми находят сильное подкрепление в изложенном выше предположении об особом химизме сексуальной функции.

* * *

Известно, что только с наступлением половой зрелости устанавливается резкое отличие мужского и женского характера, – противоположность, оказывающая большое влияние на весь склад жизни человека, чем что бы то ни было другое. Врожденные мужские и женские

свойства хорошо заметны уже в детском возрасте; развитие сексуальных задержек (стыда, отвращения, страдания и т. д.) наступает у девочки раньше и встречает меньше сопротивления, чем у мальчика; наклонность к сексуальному вытеснению кажется вообще большей; там, где проявляются частичные влечения сексуальности, они предпочитают пассивную форму. Но автоэротическая деятельность эрогенных зон одинакова у обоих полов, и благодаря этому сходству в детстве отсутствует возможность полового различия, как оно появляется после наступления половой зрелости. Принимая во внимание автоэротические и мастурбаторные сексуальные проявления, можно было бы выставить положение, что сексуальность маленьких девочек носит вполне мужской характер. Больше, если бы мы были в состоянии придавать понятиям «мужской» и «женский» вполне определенное содержание, то можно было бы защищать также положение, что либидо всегда и закономерно по природе своей – мужское, независимо от того, встречается ли оно у мужчины или женщины и не зависит от своего объекта, будь то мужчина или женщина.

С тех пор, как я познакомился с точкой зрения бисексуальности, я считаю этот момент решающим в данном случае и полагаю, что, не отдавая должного бисексуальности, вряд ли можно будет понять фактически наблюдаемые сексуальные проявления мужчины и женщины.

Независимо от этого я могу прибавить только еще следующее: и у ребенка женского пола руководящая эрогенная зона находится в клиторе, следовательно, вполне гомологична мужской генитальной зоне у головки мужского органа. Все, что мне удалось узнать о мастурбации у маленьких девочек, относилось к клитору, а не к частям внешних гениталий, имеющим значение для последующей генитальной функции. Я сам сомневаюсь, может ли девочка под влиянием соблазна дойти до чего-нибудь другого, кроме мастурбации клитора, разве только в совершенно исключительном случае. Встречающиеся именно у девочек так часто самопроизвольные разрешения сексуальной возбужденности выражаются в судорожных сокращениях клитора, и частые эрекции его дают девочке возможность правильно и без специального поучения понимать сексуальные проявления другого пола, просто перенося на мальчиков ощущения собственных сексуальных процессов.

Кто хочет понять превращение маленькой девочки в женщину, тот должен проследить дальнейшую судьбу этой возбудимости клитора. Период полового созревания, приносящий мальчику такую большую вспышку либидо, проявляется у девочки в виде новой волны вытеснения, касающейся специально сексуальности клитора. При этом подпадает вытеснению известная доля мужской сексуальной жизни. Возникающее при этом вытеснении в периоде полового созревания женщины, усиление сексуальных задержек ее вызывает раздражение либидо мужчины и ведет к усилению его сексуальной деятельности; с повышением либидо усиливается сексуальная переоценка, которая в полной мере может выразиться только по отношению к отказывающей, отрицающей свою сексуальность женщине. За клитором сохраняется тогда роль, – когда он при допущенном наконец сексуальном акте сам возбуждается – передатчика этого возбуждения соседним частям женских гениталий, подобно тому, как щепка смолистого дерева употребляется для того, чтобы зажечь более твердое топливо. Часто проходит некоторое время, пока совершается эта передача, в течение которого молодая женщина остается анестетичной. Эта анестезия может стать длительной, когда зона клитора не передает свою раздражительность, что подготовляется большей мастурбаторной деятельностью в детском возрасте. Известно, что часто анестезия женщин – только кажущаяся, локальная. Они анестетичны у входа во влагалище, но никоим образом не невозбудимы со стороны клитора или даже других эрогенных зон. К этим эрогенным поводам к анестезии присоединяются еще психические поводы, также обусловленные вытеснением.

Если перенесение эрогенной раздражимости от клитора на вход во влагалище удалось, то вместе с этим у женщины изменилась зона, играющая руководящую роль в позднейшей сексуальной деятельности, между тем как у мужчины с детства сохраняется одна и та же зона.

В этой перемене руководящей эрогенной зоны, так же как и в волне вытеснения с наступлением половой зрелости, которая как бы устраниет инфантильную мужественность, кроются главные причины предпочтительного заболевания женщин неврозом, особенно истерией.

Эти условия, следовательно, теснейшим образом связаны и сущностью женственности.

Табу девственности

Немногие детали сексуальной жизни примитивных народов производят такое странное впечатление на наше чувство, как оценка этими народами девственности, женской нетронутости. Ценность девственности с точки зрения ухаживающего мужчины кажется настолько несомненной и само собой понятной, что нами почти овладевает смущение, когда мы хотим оправдать и обосновать это мнение. Требование, чтобы девушка в браке с одним мужем не сохранила воспоминаний о сношениях с другим, представляет из себя не что иное, как последовательное развитие исключительного права обладания женщиной, составляющее сущность монополии, распространение этой монополии на прошлое.

Нам нетрудно уже позже оправдать то, что казалось сначала предрассудком, нашим мнением о любовной жизни женщины.

Кто первый удовлетворяет с трудом в течение долгого времени подавляемую любовную тоску девушки и при этом преодолевает ее сопротивление, сложившееся под влиянием среды и воспитания, тот вступает с ней в длительную связь, возможность которой не открывается уже больше никому другому. Вследствие этого переживания у женщин развивается «состояние подчиненности», которое является порукой ненарушимой длительности обладания ею и делает ее способной к сопротивлению новым впечатлениям и искушениям со стороны посторонних.

Выражение «сексуальная подчиненность» предложено в 1892 г. Krafft-Ebing'ом для обозначения того факта, что одно лицо может оказаться в необыкновенно большой зависимости и несамостоятельности по отношению к другому лицу, с которым находится в половом общении. Эта принадлежность может иной раз зайти так далеко, до потери всякого самостоятельного желания, до безропотного согласия на самые тяжелые жертвы собственными интересами; упомянутый автор, однако, замечает, что известная доля такой зависимости «безусловно необходима для того, чтобы связь была длительной». Такая доля сексуальной подчиненности действительно необходима для сохранения культурного брака и для подавления угрожающих ему полигамических тенденций, и в нашем социальном общежитии этот фактор всегда принимается в расчет.

Krafft-Ebing объясняет возникновение сексуальной подчиненности «необыкновенной степенью влюбленности и слабости характера», с одной стороны, и безграничным эгоизмом, с другой стороны. Однако аналитический опыт не допускает возможности удовлетвориться этим простым объяснением. Он показывает, что решающим моментом является величина сексуального сопротивления, которое необходимо преодолеть вместе с концентрацией и неповторяемостью процесса преодоления. Поэтому «подчиненность» гораздо чаще встречается и бывает интенсивней у женщины, чем у мужчины, а у последнего в наше время все же чаще, чем в античные времена. Там, где мы имеем возможность изучить сексуальную «подчиненность» у мужчин, она оказалась следствием преодоления психической импотенции при помощи данной женщины, к которой с того времени и привязался этот мужчина. Таким ходом вещей, по-видимому, объясняются много странных браков и не одна трагическая судьба, даже повлекшая к самым значительным последствиям.

Неправильно описывают поведение примитивных народов, о котором ниже идет речь, те, кто утверждает, что эти народы не придают никакого значения девственности, и в доказательство указывают, что дефлорация девушек совершается у них вне брака и до первого супружеского сношения. Наоборот, кажется, что и для них дефлорация является актом, имеющим большое значение, но она стала предметом табу, заслуживающим названия

религиозного запрета. Вместо того, чтобы представить ее жениху и будущему мужу девушки, обычай требует того, чтобы именно он уклонился от этого.

* * *

В мои планы не входит собрать полностью литературные свидетельства, доказывающие существование этого запрета, проследить его географическую распространность и перечислить все формы, в которых он выражается. Я довольствуюсь поэтому тем, что констатирую, что подобное устранение девственной плевы, совершающее вне последующего брака, является чем-то весьма распространенным у живущих в настоящее время примитивных народов. Так Crawley говорит: «Брачный обряд сводится к прободению девственной плевы определенным лицом, но не мужем, что очень распространено на низких уровнях культуры, особенно же в Австралии».

Если же дефлорация не должна иметь места при первом брачном сношении, то ее должен совершить раньше – каким-нибудь образом и кто-нибудь. Я приведу несколько мест из книги Crawley я, в которой имеются сведения по этому вопросу, и которые дают нам основание для некоторых критических замечаний.

S. 191. «У диери и у некоторых соседних племен (в Австралии) распространен обычай разрывать девственную плеву, когда девушка достигает половой зрелости. У племен Портланда и Гленелга совершить это у невесты выпадает на долю старой женщины, а иногда приглашаются белые мужчины с целью лишить невинности девушек».

S. 307: «Преднамеренный разрыв плевы совершается иногда в детстве, но обыкновенно во время наступления половой зрелости... Часто он соединяется, как, например, в Австралии, со специальным актом оплодотворения».

S. 348 «Плева искусственно пробуравливается, и присутствующие при этой операции мужчины совершают в точно установленном порядке (необходимо заметить: по определенному церемониалу) половой акт с девушкой. Весь процесс состоит, так сказать, из двух актов: разрушения плевы и последующего полового общения».

S. 349: «У мазаев (в экваториальной Африке) совершение этой операции составляет одно из самых главных приготовлений к браку. У Закаев (Малайские острова), у баттов (Суматра) и альфуров (на Целебесе) дефлорация производится отцом невесты. На Филиппинских островах имелись определенные мужчины, специальностью которых была дефлорация невест в том случае, если плева не была еще в детстве разрушена старой женщиной, которой это специально поручалось. У некоторых эскимосских племен лишение невинности невесты представляется ангекоку или шаману».

* * *

Замечания, о которых я уже упомянул, относятся к двум пунктам. Во-первых, приходится жалеть о том, что в этих указаниях нет более тщательного различия между одним только разрушением плевы без полового акта и половым актом с целью такого разрушения. Только в одном месте мы определенно слышали, что весь процесс распадается на два акта: на (ручную или инструментальную) дефлорацию и на последующий затем половой акт.

Во-вторых, очень желательно было бы узнать, чем отличается «церемониальный» (чисто формальный, торжественный, официальный) половой акт при этих обстоятельствах от нормального полового общения. Доступные мне авторы или слишком стыдились об этом говорить, или опять-таки придавали слишком мало значения таким сексуальным подробностям с психологической точки зрения. Мы можем надеяться, что оригинальные сообщения путешественников и миссионеров более подробны и недвусмысленны, но при теперешней недоступности этой, по большей части иностранной, литературы, я не могу сказать ничего определенного. Впрочем, можно пренебречь сомнением по поводу этого

второго пункта, принимая во внимание соображение, что церемониальный мнимый половой акт, вероятно, представляет собой замену и может быть сменил настоящий акт, который прежде совершался полностью.

Для объяснения этого табу девственности можно указать на разнообразные моменты, которым я дам краткую оценку. При дефлорации девушки обыкновенно проливается кровь; первая попытка объяснения так и ссылается на страх примитивных народов перед кровью, так как они считают, что в крови находится жизнь. Это табу крови доказывается многими предписаниями, не имеющими ничего общего с сексуальностью; оно, очевидно, имеет связь с запрещением убивать и составляет защитительную меру против первичной кровожадности, сладострастия убийства первобытного человека. При таком понимании табу девственности приводится в связь с соблюдааемым почти без исключения табу менструаций. Примитивный человек не может отделить таинственный феномен месячного кровотечения от садистических представлений. Менструации, особенно первые, он истолковывает как укус духообразного зверя, может быть, как признак сексуального общения с этим духом. Иной раз какое-нибудь сообщение дает возможность узнать в этом духе духа предка, и тогда нам становится понятным в связи с другими взглядами дикарей, что менстрирующая девушка становится табу как собственность этого духа предка.

С другой стороны, нас предупреждают, чтобы мы не слишком переоценивали влияние одного только такого момента, как страха крови. Этот страх не мог ведь уничтожить такие обычай, как обрезание мальчиков и еще более жестокое обрезание девушек (отсечение клитора и малых губ), которые отчасти в обычай у тех же самых народов, или прекратить значение других церемониалов, при которых также проливается кровь. Не было бы поэтому ничего удивительного в том, если бы этот страх преодолевался в пользу мужа при первом половом сношении.

Второе объяснение также не принимает во внимание сексуальное, но заходит гораздо дальше. Оно указывает на то, что примитивный человек является жертвой постоянно подстерегающего его чувства страха, согласно психоаналитическому учению о неврозах. Эта склонность к страху сильнее всего проявляется во всех случаях, каким-либо образом отступающих от обычного, привносящих нечто новое, неожиданное, непонятное, жуткое. Отсюда и происходит доходящая до самых поздних религий церемония, связанная со всяkim новым начинанием, с началом всякого нового периода времени, с появлением всякого первенца у человека, животного и плода. Никогда опасности, которые угрожают боящемуся, по его мнению, не ожидаются им больше, чем в начале опасного положения, и тогда-то и является самым целесообразным защититься от них. Первое половое общение в браке по своему значению имеет все основания на то, чтобы ему предшествовали эти меры предосторожности. Обе попытки объяснения как страхом перед кровью, так и страхом перед всем первородным, не противоречат одна другой, а наоборот подкрепляют друг друга. Первое половое общение – несомненно акт, внушающий опасение, тем более, что при нем проливается кровь.

* * *

Третье объяснение, – Crawley отдает ему предпочтение, – обращает внимание на то, что табу девственности входит в одну большую связь явлений, охватывающих всю сексуальную жизнь. Не только первое половое общение с женщиной представляет из себя табу, по половой акт, вообще, пожалуй, можно было бы сказать, что женщина в целом является табу. Женщина является табу не только в исключительных, вытекающих из ее половой жизни положениях – менструации, беременности, родах и послеродовом периоде, но и вне этих положений общение с женщиной подвержено таким серьезным и многочисленным ограничениям, что у нас имеются все основания сомневаться в означенной сексуальной свободе дикарей.

Совершенно верно, что в определенных случаях сексуальность примитивных народов

не знает никаких преград, но обычно она, по-видимому, сильнее сдерживается запрещениями, чем на более высоких ступенях культуры. Как только мужчина предпринимает что-нибудь особенное, — экспедицию, охоту, военный поход, — он должен держаться вдали от женщины, особенно же воздержаться от полового общения; в противном случае его сила была бы парализована, и он потерпел бы неудачу. И в обычаях повседневной жизни открыто проявляется стремление к разъединению полов. Женщины живут с женщинами, мужчины с мужчинами; семейной жизни в нашем смысле у многих примитивных племен нет, разъединение полов доходит иной раз так далеко, что лицам одного пола запрещается произносить собственные имена другого пола, что у женщин развивается свой язык с особой сокровищницей слов. Сексуальная потребность вынуждает всякий раз вновь преодолевать эти преграды, созданные разъединением полов, но у некоторых племен свидание даже супругов может иметь место только вне дома и втайне.

Где примитивный человек установил табу, там он боится опасности, и нельзя отрицать, что во всех этих предписаниях избегать женщины выражается принципиальная перед ней боязнь. Может быть, эта боязнь объясняется тем, что женщина иная, не такая, как мужчина, всегда непонятна и таинственна, чужда и потому враждебна. Мужчина боится быть ослабленным женщиной, заразиться ее женственностью и оказаться поэтому неспособным. Ослабляющее и расслабляющее, вялое напряжение действий, полового акта может быть образцом, оправдывающим такие опасения, а распространение этого страха оправдывается сознанием того влияния, которое женщина приобретает над мужчиной, благодаря половому общению и вниманию к себе, которое она этим завоевывает. Во всем этом нет ничего такого, что устарело бы, что не продолжало бы жить и среди нас.

Многие наблюдатели живущих в настоящее время примитивных народов пришли к выводу, что их любовные порывы сравнительно слабы и никогда не достигают той интенсивности, которую мы обычно находим у культурного человечества. Другие возражали против такой оценки, однако перечисленные обычай табу указывают, во всяком случае, на существование силы, сопротивляющейся любви, так как она отвергает женщину как чуждую и враждебную.



Моряк и проститутка. Художник Отто Дикс

В выражениях, немногим только отличающихся от принятой в психоанализе терминологии, Crawley доказывает, что каждый индивид отделяется от других посредством «taboo of personal isolation», и что именно мелкие различия при сходстве в других отношениях объясняют чувства чуждости и враждебности между ними. Было бы очень соблазнительно проследить эту идею и из этого «нарцизма мелких различий» вывести враждебность, которая, как мы видим, с успехом борется во всех человеческих отношениях с чувствами общности и одолевает заповедь всеобщего человеколюбия.

Психоанализ полагает, что открыл главную из причин нарцистического, сильно пропитанного презрением, отрицательного отношения к женщинам тем, что указал на происхождение этого презрения из кастрационного комплекса и влияние этого комплекса на суждение о женщине...

* * *

Табу всегда связано с какой-то опасностью: в данном случае источником таких опасностей считается женщина, а первый половой акт с женщиной считается особенно большой опасностью. Я полагаю, что нам удастся выяснить, какова эта повышенная опасность, и почему она именно угрожает будущему мужу, если мы более подробно

исследуем поведение современных женщин нашего культурного уровня при подобных же условиях. В результате такого исследования я утверждаю, что подобная опасность действительно существует, так что примитивный человек защищается посредством табу девственности против кажущейся, но вполне правильной, хотя и психической опасности.

Мы считаем нормальной реакцией, когда женщина после полового акта на высоте удовлетворения обнимает, прижимает к себе мужчину, видим в этом выражение ее благодарности и обещание длительной верности. Но мы знаем, что это поведение обычно не распространяется и на случай первого полового общения; очень часто он приносит женщине, остающейся холодной и неудовлетворенной, только разочарование, и обычно должно пройти много времени, и нужно частое повторение полового акта для того, чтобы он давал удовлетворение также и женщине.

От этих случаев только начальной и скоро проходящей фригидности ведет непрерывный ряд к тем печальным случаям постоянной холода, которые не могут преодолеть никакие нежные старания мужчины. Я полагаю, что эта фригидность женщины еще недостаточно понятна, и за исключением тех случаев, когда нужно вину за нее вменить недостаточной потенции мужчины, требует объяснения при помощи сродных ей явлений.

Столь частые попытки избежать первого полового общения я не хочу принимать здесь во внимание, потому что они имеют несколько объяснений, и в первую очередь, если не безусловно, именно в них нужно видеть выражение общего стремления женщин к сопротивлению. Но зато я думаю, что свет на загадку женской фригидности проливают некоторые патологические случаи, в которых женщина после первого и даже после всякого повторного общения открыто проявляет свою враждебность к мужчине, ругая его, поднимая против него руку или даже действительно ударяя его. В одном замечательном случае такого рода, который мне удалось подвергнуть подробному анализу, это случалось, несмотря на то, что женщина очень любила мужа, обычно сама требовала полового акта и явно испытывала при этом большое удовлетворение. По моему мнению, эта странная противоречивая реакция является следствием тех душевых движений, которые обычно могут проявиться как фригидность, т. е. оказывается в состоянии подавить нежную реакцию, не имея возможности проявиться сама. В патологическом случае разлагается на оба компонента то, что при гораздо более частой фригидности сливается в одно задерживающее действие, совершенно подобно тому, как нам это уже давно известно в так называемых «двухвременных» симптомах навязчивости. Опасность, которая таким образом возникает благодаря дефлорации женщины, состоит в том, что актом дефлорации можно навлечь на себя ее враждебность, и именно у будущего мужа имеются все основания стараться избежать этой вражды.

Анализ дает возможность без всякого труда угадать, какие именно душевые движения у женщины принимают участие в описанном парадоксальном ее поведении, в котором я надеюсь найти объяснение ее фригидности. Первый половой акт пробуждает целый ряд таких душевых движений, которым не должно быть места при желательной направленности женщины и часть которых и не возникает вновь при последующих общениях. В первую очередь тут приходится подумать о боли, которая причиняется девственнице при дефлорации, и, может быть, склонны будут считать этот момент решающим и не искать более других. Но нельзя приписывать такого значения боли, скорее можно это сделать нарцисстической уязвленности, вытекающей из разрушения органа и рационально оправдываемой сознанием того, что дефлорация понижает сексуальную ценность. Но свадебные обычаи примитивных народов предупреждают и против такой переоценки. Мы слышали, что в некоторых случаях церемония протекает в два периода, что после разрыва плевы (рукой или инструментом) следует официальный, действительный или мнимый, половой акт с заместителями мужа, и это нам показывает, что смысл предписания табу не исчерпывается тем, что избегают анатомической дефлорации, что мужа необходимо уберечь от чего-то другого, а не только от реакции жены на болезненное поранение.

Другую причину разочарования в первом половом акте мы видим (по крайней мере, у

культурной женщины) в том, что ожидания, с ним связанные, и осуществление не могут совпасть. До этого времени половое общение ассоциировалось с самым строгим запретом и легальный, разрешенный половой акт не воспринимается как таковой. Насколько тесной может быть такая связь, видно из почти комического старания многих невест сохранить в тайне новые любовные отношения от всех чужих и даже от родителей в тех случаях, где в этом нет никакой настоящей необходимости и не приходится ждать ни с чьей стороны протестов против этих отношений. Девушки так открыто и говорят, что любовь теряет для них цену, если другие о ней знают. В некоторых случаях этот мотив может разрастись до такой силы, что мешает вообще развитию способности любить в браке. Женщина снова находит свою нежную чувствительность только в запретных отношениях, которые нужно держать в тайне, и при которых она только чувствует уверенность в собственной, свободной от влияний, воле.

* * *

Однако и этот мотив недостаточно глубок, кроме того, связанный с культурными условиями, он лишен тесной связи с состоянием примитивных народов. Тем значительнее поэтому следующий момент, обусловленный историей развития либидо. Благодаря стараниям психоанализа нам стало известно, как постоянны и сильны самые ранние привязанности либидо. Речь при этом идет о сохранившихся сексуальных желаниях детства, у женщины по большей части о фиксации либидо на отце или на заменяющем его брате, желания, которые довольно часто направлены были не на coitus, а на нечто другое, или включали и его, но только как неясно осознанную цель. Супруг является всегда только, так сказать, заместителем, но никогда не «настоящим»; первым имеет право на любовь женщины другой, в типичных случаях отец; муж, самое большое, второе. Все зависит от того, насколько интенсивна эта фиксация и как крепко она удерживается для того, чтобы заместитель был отклонен как неудовлетворительный. Фригидность, таким образом, занимает место среди генетических условий невроза. Чем сильнее психический момент в сексуальной жизни женщины, тем устойчивее окажется ее распределение либидо против потрясений первого сексуального акта, тем менее потрясающее действует на нее физическое обладание, фригидность может тогда укрепиться как невротическая задержка или послужит почвой для других неврозов, и даже незначительное понижение мужской потенции приходится при этом принимать во внимание как вспомогательный момент.

По-видимому, обычай примитивных народов считается с мотивом прежнего сексуального желания, поручая дефлорацию старейшему, священнику, святому мужу, т. е. заместителю отца. Отсюда, как мне кажется, ведет прямая дорога к вызывавшему столько споров *jus primae noctis* (право первой ночи) средневекового помещика. Сторфер отстаивал тот же взгляд, кроме того, объяснил широко распространенный институт «Тобиясова брака» (обычая воздержания в течение первых трех ночей) как признание преимущественных прав патриарха, как и до него уже это сделал К. Г. Юнг. В соответствии с нашим предположением мы находим среди суррогатов отца, которым поручена дефлорация, также и изображения богов. В некоторых областях Индии новобрачная должна принести в жертву деревянному *Ungarn* свою плеву, и, по сообщению святого Августина, в римском брачном церемониале имелся такой же обычай (в его время?) с тем только послаблением, что молодой женщине приходилось только садиться на огромный каменный фаллос Приапа.

К более глубоким слоям возвращается другой мотив, который, как это можно сказать, является главным виновником парадоксальной реакции против мужа и влияние которого, по моему мнению, проявляется еще во фригидности женщины. Благодаря первому у женщины, кроме описанных, оживают еще другие прежние душевые движения, которые вообще противятся женской функции и роли.

Из анализа многих невротических женщин нам известно, что они проделали раннюю стадию развития, в течение которой они завидовали брату в том, что у него имеется признак

мужественности, и чувствовали себя из-за отсутствия этого признака (собственно, его уменьшения) обойденными или обиженными. Эту «зависть из-за penis a» мы причисляем к «кастрационному комплексу». Если понимать под «мужским» желание быть мужчиной, то это поведение можно назвать «мужским протестом», – название, придуманное Адлером, чтобы объявить этот фактор вообще носителем невроза. В этой фазе девочки часто не скрывают своей зависти и вытекающей из нее враждебности по отношению к более счастливому брату: они пытаются мочиться, стоя прямо, как брат, чтобы отстоять свое мнимое половое равноправие. В упомянутом уже случае неограниченной агрессивности после coitus a по отношению к любимому мужу я мог установить, что эта фаза имела место до выбора объекта. Позже только либидо маленькой девочки обратилось на отца, и тогда она стала желать вместо penis'a – ребенка.

Я не был бы удивлен, если бы в других случаях временная последовательность этих переживаний оказалась обратной и та часть кастрационного комплекса проявила свое действие только после состоявшегося выбора объекта. Но мужская фаза женщины, во время которой она завидует мальчику из-за penis'a, исторически, во всяком случае, более ранняя и больше приближается к первоначальному нарцисму, чем к любви к объекту.

* * *

Несколько времени тому назад случай дал мне возможность понять сон новобрачной, который оказался реакцией на ее дефлорацию. Он легко выдавал желание женщины кастрировать молодого супруга и сохранить себе его penis. Несомненно, было достаточно места и для более безобидного толкования, что желательно было продления и повторения акта, но некоторые детали сновидения выходили за пределы такого смысла, а характер и дальнейшее поведение видевшей сон свидетельствовали в пользу более серьезного понимания. За этой завистью из-за penis'a проявляется враждебное ожесточение женщины против мужчины, которое всегда можно заметить в отношениях между полами и самые явные признаки которого имеются в стремлениях и в литературных произведениях «эмансипированных». Эту враждебность женщины Ferenczi – не знаю, первый ли – приводит путем соображений палеонтологического характера к эпохе дифференциации полов. Сначала, думает он, копуляция имела место между двумя однородными индивидами, из которых один развился и стал более сильным и заставил другой, более слабый, перетерпеть половое соединение. Ожесточение за это превосходство сохранилось еще во врожденных склонностях современной женщины. Не думаю, чтобы пользование подобными размышлениеми заслуживало упрека, поскольку удается не придавать им слишком большого значения.

После такого перечисления мотивов, сохранившихся в фригидности следов парадоксальной реакции женщины на дефлорацию, можно, обобщая, формулировать, что незрелая сексуальность женщины разряжается на мужчине, который впервые познакомил ее с сексуальным актом. Но в таком случае табу девственности приобретает достаточный смысл, и нам понятно предписание, требующее, чтобы этих опасностей избег именно тот мужчина, который навсегда должен вступить в совместную жизнь с этой женщиной. На более высоких ступенях культуры значение этой опасности отступает на задний план в сравнении с обещанием «подчиненности», а также и перед другими мотивами и соблазнами, девственность рассматривается как благо, от которого мужчине не надо отказываться. Но анализ помех в браке показывает, что мотивы, которые заставляют женщину желать отомстить за свою дефлорацию, не совсем исчезли из душевной жизни культурной женщины. Я полагаю, что наблюдатель должен заметить, в каком необыкновенно большом числе и чувствует себя несчастной, между тем как после расторжения этого брака она отдает свою нежность и счастье второму мужу. Архаическая реакция, так сказать, исчерпалась на первом объекте.

Однако табу девственности и помимо того не исчезло в нашей культурной жизни.

Народная душа знает о нем, и поэты иногда пользовались им как сюжетом творчества, Anzengruber изображает в одной комедии, как простоватый деревенский парень отказывается жениться на суженой ему невесте, потому что она «девка, за которую первый поплатится жизнью». Он соглашается поэтому на то, чтобы она вышла замуж за другого, и хочет затем на ней жениться, как на вдове, когда она уже не опасна. Заглавие пьесы «Яд девственности» напоминает о том, что укротители змей заставляют ядовитую змею сперва укусить платок, чтобы потом безопасно иметь с ней дело.

Табу девственности и часть его мотивировки нашли могучее изображение в известном драматическом образе, в Юдиfi из трагедии НебеГя «Юдифь и Олоферн». Юдифь одна из тех женщин, девственность которой защищается табу. Первый ее муж был парализован в брачную ночь таинственным страхом и никогда больше не решался дотронуться до нее. «Моя красота – красота ядовитой ягоды, – говорит она. – Наслаждение ею приносит безумие и смерть». Когда ассирийский полководец осаждает ее город, у нее созревает план соблазнить его своей красотой и погубить; она пользуется таким образом патриотическим мотивом для покрытия сексуального. После дефлорации могучим и хвастающим своей физической силой и беспощадностью мужчины она находит в своем возмущении силу отрубить ему голову и таким образом становится освободительницей своего народа. Отрубание головы известно как символическая замена кастрации; Юдифь, таким образом, женщина, кастрирующая мужчину, лишившего ее невинности, как этого желало описанное мною сновидение новобрачной. Hebbel с явной преднамеренностью сексуализировал патриотический рассказ из апокрифов Ветхого Завета, потому что там Юдифь, возвратившись, хвастает, что она не обесчещена, и в библейском тексте также отсутствует какое бы то ни было указание на ее странную брачную ночь. Вероятно, с тонким чутьем поэта он почувствовал древний мотив, включенный в тот тенденциозный рассказ, и только вернул сюжету его прежнее содержание.

J.Sadger в прекрасном анализе показал, как Hebbel руководился в выборе сюжета собственным родительским комплексом, и как это случилось, что в борьбе между полами он всегда становился на сторону женщины и проникал своим чувством в самые потаенные душевые ее движения. Он цитирует также мотивировку, указанную самим поэтом, объясняющую внесенные им изменения сюжета, и совершенно правильно находит ее искусственной и как бы предназначенней для того, чтобы внешне оправдать нечто для самого поэта скрытое в бессознательном его, а по существу скрыть это. Не хочу касаться объяснения Sadger'a, почему овдовевшая, согласно библейскому сказанию, Юдифь должна была превратиться в девственную вдову. Он указывает на намерение детской фантазии отрицать сексуальное общение между родителями и превращать мать в незапятнанную деву. Но я продолжаю: после того как поэт утвердил девственность своей фантазии, его чувствительная фантазия остановилась на враждебной реакции, которая вызывается нарушением девственности.

* * *

В заключение мы можем поэту сказать: дефлорация имеет не одно только культурное последствие – привязать женщину навсегда к мужчине; она дает также выход архаической реакции враждебности к мужчине, которая может принять патологические формы, довольно часто проявляющиеся как задержка в любовной жизни брака, и этой же реакции можно приписать тот факт, что вторые браки так часто оказываются более удачными, чем первые. Соответствующее табу девственности, боязнь, с которой муж у примитивных народов избегает дефлорации, находят свое полное оправдание в этой враждебной реакции.

Интересно, что как аналитик можешь встретить женщин, у которых обе противоположные реакции, подчиненности и враждебности, нашли себе выражение и остались в тесной связи между собой. Встречаются женщины, которые как будто совсем

разошлись со своими мужьями и все же могут делать только тщетные усилия расстаться с ними. Как только они пробуют обратить свою любовь на другого мужчину, выступает, как помеха, образ первого, уже больше не любимого.

Анализ тогда показывает, что эти женщины привязаны еще к своим мужьям из подчиненности, но не из нежности. Они не могут освободиться от них, потому что не совершили над ними своей мести, в ярко выраженных случаях не осознали даже своих мстительных душевных желаний.

Об унижении любовной жизни

...Если практикующий врач-психоаналитик задает себе вопрос – с каким страданием чаще всего к нему обращаются за помощью, то он принужден будет ответить: с психической импотенцией, – если не считать разнообразных проявлений страха. Этой странной болезнью заболевают мужчины с сильно выраженной чувственностью, и заболевание проявляется в том, что специальные органы отказываются выполнять функции полового акта, хотя до и после акта они могут быть вполне здоровыми и дееспособными, и хотя данный субъект имеет большую склонность к выполнению этого акта. Первым поводом к пониманию своего состояния является факт, приводящий его к убеждению, что такие неудачи постигают его только при половых попытках с определенными особами, между тем как с другими у него не случается ничего подобного. Тогда он приходит к убеждению, что задержку его мужской потенции вызывают особенные свойства сексуального объекта. Иной раз такой больной сам рассказывает, что у него получается ощущение в нем самом какого-то препятствия, что он замечает какое-то внутреннее противодействие, которое мешает сознательному его намерению. Но больной не в состоянии понять, в чем же состоит это препятствие и какие именно особенности полового объекта его вызывают. Если подобные неудачи случались у него неоднократно, то в таком случае он склонен установить ошибочную причинную связь и полагает, что именно воспоминание о первой неудаче является таким препятствующим и отпугивающим переживанием и становится причиной последующих неудач; в первый же раз дело касалось «случайности».

Психоаналитическое исследование психической импотенции произведено и опубликовано несколькими авторами. Каждый аналитик из собственного опыта может подтвердить приводимые ими объяснения. Речь действительно идет о парализующем влиянии известных психических комплексов, которые недоступны сознанию индивида. На первом плане стоит, как общее содержание этого патогенного материала, сохранившая свою силу и влияние инцестуозная (кровосмесительная) фиксация либидо на матери и на сестре. Кроме того, нужно принять во внимание влияние случайных мучительных впечатлений, находящихся в связи с детскими сексуальными проявлениями, и вообще все моменты, понижающие либидо, которое должно быть направлено на женщину как на половой объект.

Если подвергнуть при помощи психоанализа детальному исследованию случай резкой психической импотенции, то получается следующая картина действующих при ней психосексуальных процессов. Почвой болезни служит и здесь, как, вероятно, при невротических страданиях, задержка в развитии либидо до степени ее нормальной завершенной формы. Здесь еще не слились два течения, слияние которых только и обеспечивает вполне нормальную любовную жизнь, – два течения, которые мы различаем как нежное и чувственное.

* * *

Наиболее старое из этих двух течений – нежное. Оно берет начало с самых ранних лет, образовалось на почве интересов инстинкта самосохранения и направлено на представителей родной семьи или на лиц, занятых уходом и воспитанием ребенка. К нему с самого начала присоединяется известная доля половых влечений, компонентов эротического интереса,

которые нормально выражены уже более или менее ясно с детства, а у невротиков во всех случаях открываются психоанализом, произведенным в более позднем возрасте. Оно соответствует первичному детскому выбору объекта. Мы видим из него, что половые влечения находят свои первые объекты в связи с оценкой, исходящей из влечения Я, точно так же, как первые сексуальные удовлетворения получаются в связи с функциями, необходимыми для сохранения жизни. «Нежность» родителей и воспитателей, которая редко не отличается явным эротическим характером («ребенок – эротическая игрушка»), много содействует тому, чтобы усилить эти прилатки эротики к объектам фиксации влечений и поднять их на такую высоту, при которой они должны повлиять на последующее развитие, в особенности, если этому способствуют еще и некоторые другие обстоятельства.

Нежные фиксации ребенка сохраняются в течение всего детства, и к ним притекают новые эротические переживания, и эротика благодаря этому отклоняется от своих половых целей. В возрасте половой зрелости к нежным фиксациям присоединяется еще «чувственное» течение, которое определенно сознает свои цели. Оно, понятно, идет всегда прежними путями и снабжает значительно большим количеством либido объекты первого инфантильного выбора. Но вследствие того, что оно натыкается там на возникнутые препятствия кровосмесительного ограничения, то оно стремится найти возможно скорей переход от этих, реально не подходящих, объектов к другим, посторонним, с которыми было бы возможно настоящее половое сожительство. Эти посторонние объекты избираются, однако, по образу инфантильных, но со временем они привлекают к себе ту нежность, которая была фиксирована на прежних. Мужчина оставляет отца и мать – как предписывается в Библии, – чтобы следовать за женой, нежность и чувственность сливаются воедино. Высшая степень чувственной влюбленности связана с наибольшей психической оценкой (нормальная переоценка полового объекта мужчиной).

При неудаче этого процесса решающее значение имеют два момента развития либido. Во-первых, степень реального запрета, который не допускает нового выбора объекта и обесценивает его для индивида. Ведь нет никакого смысла заниматься выбором объекта, если запрещено вообще выбирать, или не имеешь никакой надежды выбирать что-нибудь достойное. Во-вторых, степень привлекательности, которой могут обладать те инфантильные объекты, от которых следует уйти; она пропорциональна эротической фиксации, которой они были наделены еще в детстве. Если эти два фактора достаточно сильны, то начинает действовать общий механизм образования неврозов. Либido отвращается от реальности, подхватывается работой фантазии, усиливает образы первых детских объектов и фиксируется на них. Но кровосмесительное ограничение заставляет оставаться в бессознательном либido, обращенное на эти объекты; изживание чувственного течения, кроющегося теперь в бессознательном, в онанистических актах способствует тому, чтобы укрепить эти фиксации. Положение дела не меняется и тогда, когда неудавшийся в реальности прогресс совершается в фантазии, т. е. когда в фантастических ситуациях, ведущих к онанистическому удовлетворению, первоначальные половые объекты заменяются посторонними. Благодаря такому замещению фантазии делаются способными проникнуть в сознание; но в реальном либido при этом не замечается никакого прогресса.

Таким образом, может случиться, что вся чувственность молодого человека окажется связанной в бессознательном с инцестуозными объектами или, как мы еще иначе формулируем, она фиксирована на бессознательных инцестуозных фантазиях. В результате получается абсолютная импотенция, которая к тому же еще укрепляется благодаря одновременно приобретенному действительному ослаблению органов, выполняющих половой акт.

Для образования собственно так называемой психической импотенции требуются более мягкие условия. Чувственное течение во всем объеме вынуждено скрываться за нежным течением, оно должно быть в достаточное мере сильным и свободным от задержек, чтобы хотя бы отчасти пробить себе путь к реальности. Половая активность таких лиц носит на себе явные признаки того, что руководящие ею психические импульсы действуют не во всем

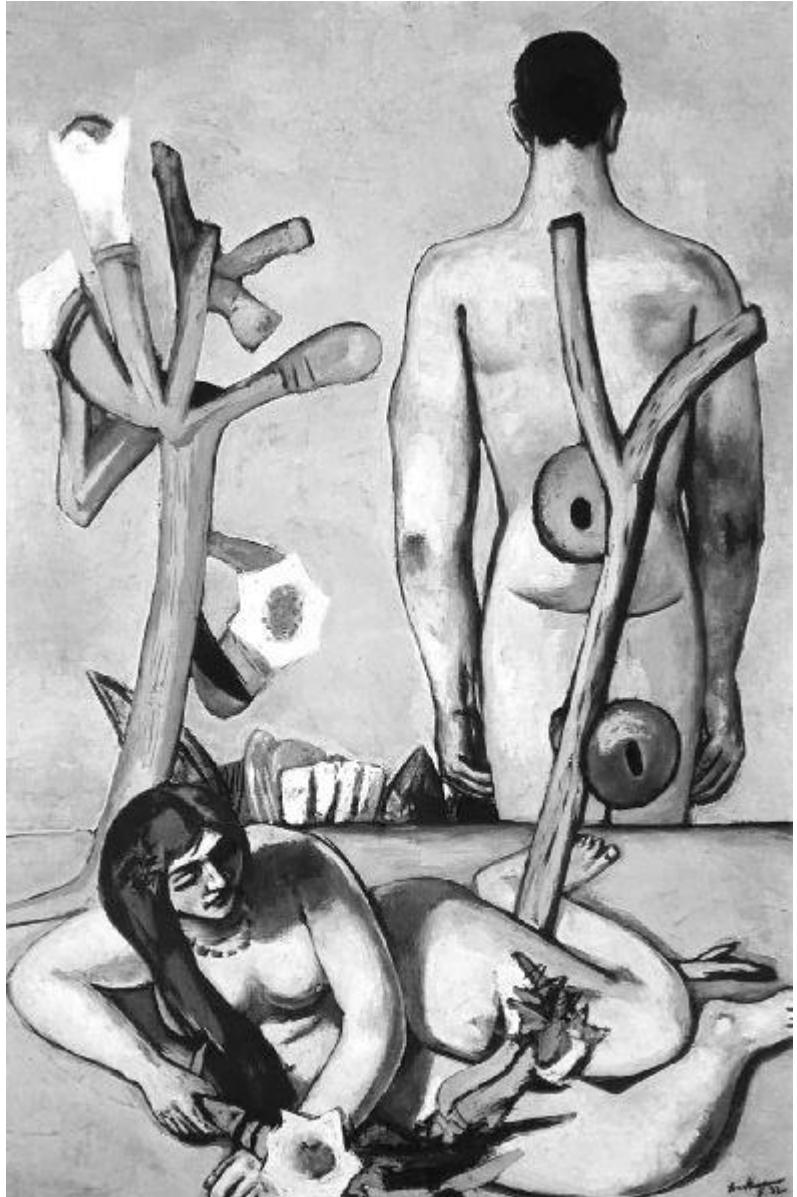
объеме; она капризна, подвижна, легко нарушается, функционирует часто неправильно, доставляет мало удовольствия. Но главным образом она избегает слияния с нежным течением. Таким образом, создается ограничение в выборе объектов. Оставшееся активным чувственное течение ищет только таких объектов, которые не напоминают запретных инцестуозных лиц; если какое-нибудь лицо производит впечатление, вызывающее высокую психическую оценку, то оно влечет за собой не чувственное возбуждение, а эротически недействительную нежность. Любовная жизнь таких людей остается расщепленной в двух направлениях, нашедших свое выражение в искусстве, как небесная и земная (животная) любовь. Когда они любят, они не желают обладания, а когда желают, не могут любить. Они ищут объектов, которых им не нужно любить, чтобы отдалить чувственность от любимых объектов, и странная несостоятельность в форме психической импотенции наступает, — согласие законам «чувствительности комплекса» и «возвращения вытесненного» тогда, когда иной раз какая-нибудь незначительная черта лица объекта, избранного во избежание инцеста, напоминает объект, которого следует избегать.

Главным средством против такого нарушения, которым пользуются люди с расщепленным любовным чувством, является психическое унижение полового объекта, в то время как переоценка, присущая при нормальных условиях половому объекту, сохраняется для инцестуозного объекта и его заместителей. Чувственность может свободно проявляться только при выполнении условия унижения, притом возможны значительные проявления половой активности и сильное чувство наслаждения. Этому благоприятствуют еще другие лица, у которых нежное и чувственное течение недостаточно слились, не обладают по большей части достаточно тонким любовным чувством; у них сохранились половые ненормальности, неудовлетворение которых ими ощущается как определенное понижение удовольствия, а удовлетворение возможно только с приниженными, мало оцениваемыми половыми объектами.

Понятны теперь мотивы упомянутых в первом очерке фантазий мальчика, который принижает мать до степени проститутки. В них проявляется старание, хотя бы фантазии, перекинуть мост через пропасть, разделяющую эти два течения любовной жизни, завладеть матерью как объектом чувственного влечения ценою ее унижения.

* * *

До сих пор мы занимались врачебно-психологическим исследованием психической импотенции. Но дальше мы поймем, что нам нужно было начать с этого вступления, чтобы иметь возможность обратиться к настоящей теме.



Любовная пара. Художник Макс Бекман

Психическую импотенцию мы свели к неслянию нежного и чувственного течения в любовной жизни; а указанную задержку развития объяснили влиянием детских фиксаций и более поздним запретом при промежуточном возникновении инцестуозного запрета. Против этого учения можно, во-первых, выдвинуть следующее возражение: если оно дает нам слишком много, оно нам объясняет, почему некоторые лица страдают психической импотенцией, то для нас остается загадочным, как иные люди могли избежать этого страдания. Так как приходится сознаться, что все указанные видимые моменты – как то: сильная детская фиксация, кровосмесительный запрет и запрет в более поздние годы развития после наступления половой зрелости – имеются почти у всех культурных людей, то было бы вполне правильно заключить, что психическая импотенция является общим страданием культурного человека, а не болезнью отдельных лиц.

Если понятие о психической импотенции брать шире и не ограничивать только невозможностью полового акта, при наличии полового желания и физически здорового полового аппарата, то сперва приходится причислить сюда всех тех мужчин, которых называют психастениками, которым если и удается всегда акт, то он не доставляет особенного наслаждения; это встречается чаще, чем полагают. Психоаналитическое исследование таких случаев, не объясняя сначала разницы в симптоматологии, открывает те же этнологические моменты. От анэстетичных (лишенных чувственности) мужчин легко

оправдываемая аналогия ведет к громадному числу фригидных женщин, отношение которых к половой любви нельзя лучше описать и понять, как указанием на полное его сходство с более известной психической импотенцией мужчин.

Но если мы не будем расширять понятие о психической импотенции, а присмотримся к оттенкам ее симптоматологии, то мы не сможем не согласиться с тем, что любовные проявления мужчины в нашем современном культурном обществе вообще носят типичные признаки психической импотенции. Нежное и чувственное течения только у очень немногих интеллигентных мужчин в достаточной степени спаяны; мужчина почти всегда чувствует себя стесненным в проявлениях своей половой жизни благодаря чувству уважения к женщине и проявляет свою полную потенцию только тогда, когда имеет дело с низким половым объектом. Такое обстоятельство обусловливается, кроме того, тем, что к его половым стремлениям присоединяются компоненты извращенности, которые он не осмеливается удовлетворить с женщиной, заслуживающей уважения. Полноеовое удовольствие он может испытать только тогда, когда безудержно отдается наслаждению, чего он, например, не осмеливается проявлять со своей высоконравственной супругой. Отсюда происходит его потребность в униженном половом объекте, женщине этически малоценней, у которой, по его мнению, нет эстетических требований, которой неизвестны его общественные отношения, и она не в силах о них судить. Перед такой женщиной он всего легче обнаруживает свою половую силу даже в том случае, если его нежность направлена к более высоко стоящей. Возможно, что так часто наблюдалась склонность мужчин высших общественных классов выбирать себе любовницу или даже законную супругу из женщин низкого сословия является только следствием потребности в униженном половом объекте, с которым психологически связана возможность полного удовлетворения.

* * *

Я не колеблюсь объявить, что два момента, действительные при настоящей психической импотенции: интенсивная инцестуозная фиксация детского возраста и реальный запрет в юношеском возрасте, являются причиной также и этого, такого частого, проявления в поведении культурных мужчин в их любовной жизни. Пусть это и звучит неприятно и парадоксально, но следует сказать, что тот, кто в любовной жизни хочет быть свободным и счастливым, тот должен преодолеть респект перед женщиной и примириться с представлением о кровосмесительстве с матерью или с сестрой. Тот, кто готов в ответ на такое требование подвергнуть себя серьезной внутренней проверке перед самим собой, тот непременно найдет, что считает в сущности половой акт чем-то унизительным, что грязнит и позорит человека и не только его тело. Происхождение этой оценки, в которой, верно, не легко сознаться, можно найти только в периоде юности, когда чувственное течение было уже сильно развито, а удовлетворение было почти одинаково запрещено как по отношению к постороннему, так и к инцестуозному объекту.

В нашем культурном обществе женщины находятся под таким же влиянием воспитания, но, кроме того, еще и под влиянием поведения мужчин. Для них, разумеется, одинаково дурно и в том случае, когда они не находят в мужчине его половой мужской силы, как и тогда, когда повышенная вначале оценка их в периоде влюбленности сменяется после обладания пренебрежением. У женщины существует очень слабая потребность в унижении полового объекта; в связи с этим находится, несомненно, и то обстоятельство, что обычно у женщины не проявляется ничего похожего на половую переоценку мужчины. Но длительное половое воздержание и удержание чувственности в области фантазии вызывают у нее другое важное последствие. Впоследствии она уже не в силах разрушить связь между чувственными переживаниями и запретом и оказывается психически импотентной, т. е. фригидной, в то время как ей, наконец, разрешаются подобного рода переживания. Поэтому у многих женщин является стремление сохранить тайну еще даже и тогда, когда сношения ей уже разрешаются; у других появляется способность нормально чувствовать только в том случае,

когда условия запрета снова имеют место при какой-либо тайной любовной связи. Изменяя мужу, она в состоянии сохранять любовную верность второго разряда.

Я полагаю, что условие запрета имеет в любовной жизни женщины то же значение, что унижение полового объекта у мужчины. Оба являются следствием длительного откладывания начала половой жизни после наступления половой зрелости, как этого требует воспитание ради культурных целей. Оба стремятся прекратить психическую импотенцию, которая является следствием отсутствия слияния чувственного и нежного течений. Если следствия одной и той же причин оказывают различные у мужчины и у женщины, то причиной этому является, быть может, иное различие в поведении обоих полов. Культурная женщина обыкновенно не нарушает запрета в течение периода ожидания, и таким образом у нее создается тесная связь между запретом и сексуальностью. Мужчина нарушает большей частью запрет под условием унижения полового объекта, и поэтому это условие и переносится в его последующую любовную жизнь.

Ввиду столь сильно назревшего в современном культурном обществе стремления к реформе половой жизни, считаю нeliшним напомнить, что психоаналитическому исследованию так же чужды какие бы то ни было тенденции, как и всякому другому. Оно стремится лишь к тому, чтобы вскрыть связи и зависимости, находя в скрытом причину общеизвестного. Психоанализ не может ничего иметь против того, чтобы его выводы были использованы при проведении реформы для создания полезного вместо вредного. Но он не может наперед сказать, не будут ли те или иные установления иметь следствием другие, более тяжелые жертвы.

* * *

Тот факт, что культурное обуздание любовной жизни влечет за собой общее унижение полового объекта, должен нас побудить перенести наше внимание с объектов на самые влечения. Вред первоначального запрета сексуального наслаждения сказывается в том, что позднейшее разрешение его в браке не дает уже полного удовлетворения. Но и неограниченная половая свобода с самого начала не приводит к лучшим результатам. Легко доказать, что психическая ценность любовной потребности понижается тотчас же, как только удовлетворение становится слишком доступным. Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препятствие; и там, где естественные сопротивления удовлетворению оказываются недостаточными, там люди всех времен создавали условные препятствия, чтобы быть в состоянии наслаждаться любовью. Это относится как к отдельным индивидам, так и к народам. Во времена, когда удовлетворение любви не встречало затруднений, как, например, в периоде падения античной культуры, любовь была обеспечена, жизнь пуста. Нужны были сильные «реактивные образования», чтобы создать необходимые аффективные ценности. Все это дает основание утверждать, что аскетические течения христианства дали любви психическую ценность, которой ей никогда не могла дать языческая древность. Наивысшего значения любовь достигла у аскетических монахов, вся жизнь которых была наполнена почти исключительно борьбой с либидинозными искушениями.

Объяснение встречающихся в этой области трудностей и неясностей прежде всего обращается, разумеется, к общим свойствам наших органических влечений. В общем, конечно, совершенно верно, что психическое значение влечения повышается в связи с отказом от его удовлетворения. Стоит только попробовать подвергнуть одинаковому голоданию группу самых разнообразных людей. С возрастанием властной потребности в пище сглаживаются все индивидуальные различия и вместо них наступают однообразные проявления единого неудовлетворенного влечения. Но верно ли, что с удовлетворением влечения так уже сильно понижается его психическая ценность? Стоит вспомнить, например, отношение алкоголика к вину. Разве не правда, что вино дает алкоголику всегда одно и то же токсическое удовлетворение, часто сравниваемое в поэзии с эротическим, его можно сравнить с эротическим и с точки зрения научного понимания? Слыхали ли вы, чтобы

пьяница принужден был вечно менять напитки, потому что он теряет вкус к одному и тому же напитку? Напротив, привычка все больше и больше укрепляет связь между человеком и излюбленным сортом вина. Слыхали ли вы, чтобы пьяница проявлял потребность отправиться в страну, где вино дорого или где запрещено его пить, чтобы пьяница старался возбудить свое особенное удовлетворение, создавая подобные затруднения? Ничего подобного. То, что говорят наши великие алкоголики, например, Беклин, о своем отношении к вину, звучит как чистейшая гармония, как образец счастливого брака. Почему же у любящего совершенно иное отношение к своему сексуальному объекту?

Я думаю, что следовало бы – как это странно ни звучит – допустить возможность существования в самой природе сексуального влечения чего-то, что не благоприятствует наступлению полного удовлетворения. Тогда из длительной и трудной истории развития этого влечения выделяются два момента, может быть, вызывающие также затруднение. Во-первых, вследствие двукратной попытки выбора объекта, с промежуточным возникновением инцестуозного запрета, окончательный объект полового влечения никогда не совпадает с первоначальным, а является только его суррогатом. Психоанализ научил нас: если первоначальный объект какого-нибудь желания утерян вследствие вытеснения, то он нередко подменяется бесконечным рядом заменяющих объектов, из которых не удовлетворяет вполне ни один. Это может нам объяснить то непостоянство в выборе объекта и ту неутомимость, которыми так нередко отличается любовная жизнь взрослого.

* * *

Во-вторых, мы знаем, что половое влечение распадается на большое число компонентов, – не все могут войти в состав его позднейшего образования, – но их нужно прежде всего подавить или найти другое применение. К ним относятся сначала копрофильные части влечения, которые оказались несовместимыми с нашей эстетической культурой, вероятно, с тех пор, как мы благодаря вертикальному положению тела при ходьбе удалили наш орган обоняния от поверхности земли. Далее, той же участи подлежит значительная часть садистических импульсов, которые также относятся к числу проявлений любовной жизни. Но все эти процессы развития захватывают только верхние слои сложной структуры. Основные процессы, вызывающие любовное возбуждение, остаются незатронутыми. Экскрементальное слишком тесно и неразрывно связано с сексуальным, положение гениталий остается предопределяющим и неизменным моментом. Здесь можно было бы, несколько изменив, повторить известное изречение Наполеона: «анатомия решает судьбу». Гениталии не проделали вместе со всем человеческим телом развития в сторону эстетического совершенствования, они остались животными, и поэтому и любовь в основе своей и теперь настолько же животна, какой она была испокон веков. Любовные влечения с трудом поддаются воспитанию, их воспитание дает то слишком много, то слишком мало. То, что стремится из них сделать культура, недостижимо; оставшиеся без применения возбуждения дают себя знать при активных половых проявлениях в виде неудовлетворенности.

Таким образом, приходится, может быть, примириться с мыслью, что равновесие между требованиями полового влечения и культуры вообще невозможно, что невозможно устраниТЬ лишения отказа и страдания, как и общую опасность прекращения в отдаленном будущем всего человеческого рода в силу его культурного развития. Хотя этот мрачный прогноз основан на том только единственном предположении, что культурная неудовлетворенность является необходимым следствием известных особенностей, приобретенных половым влечением под давлением культуры. Но именно эта неспособность полового влечения давать полное удовлетворение, как только это влечение подчинилось первым требованиям культуры, становится источником величайших культурных достижений, осуществляемых благодаря все дальше идущему сублимированию компонентов этого влечения. Ибо какие мотивы могли бы побудить людей давать другое применение

сексуальным импульсам, если бы при каком-либо распределении их они могли бы получать полное счастье? Они не отошли бы от этого счастья и не делали бы дальнейших успехов.

Таким образом, кажется, что благодаря непримиримому разладу между требованиями обоих влечений – сексуальными и эгоистическими – люди становятся способными на все высшие достижения, хотя постоянно подвергаются опасности заболеть неврозом, особенно наиболее слабые из них.

Нарцисм и либидо. Еще несколько критических замечаний о концепции К. Г. Юнга

Термин «нарцисм» заимствован нами из описанной П. Накке в 1899 г. картины болезни. Термин этот применялся им для обозначения состояния, при котором человек относится к собственному телу как к сексуальному объекту, т. е. любуется им с чувством сексуального удовольствия, гладит его, ласкает до тех пор, пока не получает от этого полного удовлетворения. Такая форма проявления нарцисма представляет из себя извращение, захватывающее всю область сексуальной жизни данного лица, и вполне соответствует тем представлениям и предположениям, с которыми мы обычно приступаем к изучению всех извращений.

Психоаналитические наблюдения обнаружили, что отдельные черты нарцисстического поведения наблюдаются, между прочим, у многих лиц, страдающих другими болезненными явлениями; так, например, по Задгеру, у гомосексуальных лиц. В конце концов возникает предположение, что проявления либидо, заслуживающие название нарцисма, можно наблюдать в гораздо более широком объеме, и им должно быть уделено определенное место в нормальном сексуальном развитии человека.

Такие же предположения возникают в связи с трудностями, встречающимися во время психоаналитического лечения невротиков, так как оказывается, что такое нарцисстическое поведение больных ограничивает возможность терапевтически влиять на них. Нарцисм в этом смысле является не перверсией, а либидинозным дополнением к эгоизму инстинкта самосохранения, известную долю которого с полным правом предполагают у каждого живого существа.

С тех пор как сделана была попытка осветить психологию Dementia praecox (Крепелин) или Schizophrenia (Блейлер) с точки зрения теории либидо, явился новый важный повод к тому, чтобы заняться вопросом о первичном нормальном нарцисме. У таких больных, которых я предложил назвать парапрениками, наблюдается две следующие основные характерные черты: бред величия и потеря интереса к окружающему миру (к лицам и предметам). Вследствие указанного изменения психики такие больные не поддаются воздействию психоанализа, и мы не можем добиться их излечения. Но необходимо более точно определить и выяснить признаки и особенности этого ухода парапреника от внешнего мира. Как у истерика, так и у невротика, страдающего навязчивыми состояниями, поскольку их болезнь отражается на их отношении к миру, нарушено нормальное отношение к реальности. Но анализ обнаруживает, что у таких больных тем не менее вовсе не утрачено эротическое отношение к людям и предметам, оно сохранено у них в области фантазии, т. е., с одной стороны, реальные объекты заменяются и смешиваются у них с воображаемыми образами, с другой стороны, они не делают никаких усилий для реального достижения своих целей, т. е. для действительного обладания объектами.

Только для этих состояний либидо и следует сохранить употребляемое Юнгом без строгого различия выражение: интроверсия либидо (Introversion der Libido). У парапреников дело обстоит иначе. У них, по-видимому, либидо совершенно отщепилось от людей и предметов внешнего мира без всякой замены продуктами фантазии. Там, где такая замена как будто наблюдается, дело идет, по-видимому, о вторичном процессе, о попытке к самоизлечению, выражющейся в стремлении вернуть либидо объекту.

* * *

Возникает вопрос: какова же дальнейшая судьба либидо, отщепившегося при Schizophrenia от объектов? В этом отношении нам дает указание бред величия при этой болезни. Он образовался за счет либидо объектов. Либидо, оторвавшись от внешнего мира, обращается на собственное «Я», и таким образом создается состояние, которое мы можем назвать нарцисмом. Но самий бред величия не является чем-то совершенно новым, а представляет из себя, как мы знаем, увеличение и выявление бывшего уже раньше состояния. Нарцисм парапреника, возникший вследствие перенесения либидо на собственное «Я», является, таким образом, вторичным, появившимся на почве первичного, до того затемненного разнообразными влияниями.

Отмечу еще раз, что я не собираюсь разъяснять или углублять здесь проблему Schizophrenia, а делаю только сводку того, что уже говорилось в другом месте, чтобы доказать необходимость включения нарцисма в общую схему развития либидо.

Третьим источником такого, как мне кажется, вполне законного дальнейшего развития теории либидо являются наши наблюдения над душевной жизнью примитивных народов и детей и наше понимание их психики. У примитивных народов мы наблюдаем черты, которые могли бы быть приняты за проявления бреда величия, если бы встречались лишь в единичных случаях. Сюда относится громадная переоценка примитивными народами могущества их желаний и душевных движений, «всемогущество мысли», вера в сверхъестественную силу слова, приемы воздействия на внешний мир, составляющие «магию» и производящие впечатление последовательного проведения в жизнь представлений о собственном величии и всемогуществе.

Совершенно сходное отношение к внешнему миру мы предполагаем и у современного ребенка, развитие которого нам гораздо менее ясно. Таким образом, у нас создается представление о том, что первично либидо концентрируется на собственном «Я», а впоследствии часть его переносится на объекты; но по существу этот переход либидо на объекты – не окончательный процесс, и оно все же продолжает относиться к охваченным им объектам, как тельце маленького протоплазматического существа относится к выпущенным им псевдоподиям. Мы, естественно, сначала не замечали этой доли либидо, так как исходили в нашем исследовании из невротических симптомов. Наше внимание приводили к себе только эманации этого либидо, его способность привязываться к внешним объектам и снова обращаться вовнутрь. Говоря в общих, более грубых чертах, мы видим известное противоречие между Я-либидо и объект-либидо. Чем больше расходуется и изживается одно, тем бедней переживаниями становится другое. Высшей фазой развития объектлибидо кажется нам состояние влюбленности, которое рисуется нам как отказ от собственной личности вследствие привязанности к объекту, и противоположность которого составляет фантазия (или внутреннее восприятие) параноика о гибели мира. Наконец, что касается различных видов психической энергии, то мы полагаем, что сначала, в состоянии нарцисма, оба вида энергии слиты воедино, и наш грубый анализ не в состоянии их различить, и только с наступлением привязанности к объектам является возможность отделить сексуальную энергию в виде либидо от энергии влечений «Я».

* * *

Прежде чем продолжать, я должен коснуться еще двух вопросов, которые вводят нас в самую гущу всех трудностей этой темы. Во-первых: как относится нарцисм, о котором здесь идет речь, к автоэротизму, описанному нами как ранняя стадия либидо? Во-вторых: раз мы признаем, что либидо первично сосредоточивается на «Я», то для чего вообще отличать сексуальную энергию влечений от несексуальной? Разве нельзя было бы устраниТЬ все трудности, вытекающие из отделения энергии влечений «Я» от Я-либидо и Я-либидо от объекта-либидо, если мы предположим одну единую психическую энергию? Относительно

первого вопроса я замечу следующее: совершенно неизбежно предположение, что единство личности «Я» не имеется с самого начала у индивида: ведь «Я» должно развиться, тогда как автоэротические влечения первичны: следовательно, к автоэротизму должно присоединиться еще кое-что, еще какие-то новые переживания для того, чтобы мог образоваться нарцисм.

Требование дать определенный ответ на второй вопрос должно вызвать у всякого психоаналитика определенно неприятное чувство. С одной стороны, стараешься не поддаться этому чувству, вызванному тем, что оставляешь область непосредственных наблюдений ради бесплодных теоретических споров, а с другой стороны, все же нельзя избежать необходимости хоть попытаться дать объяснение явлениям, с которыми сталкиваешься. Несомненно, представления вроде «Я-либидо», «энергия влечений» и т. п. не отличаются ни особенной ясностью, ни богатством содержания; спекулятивная теория этих отношений исходила бы прежде всего из точного определения этих понятий. Однако, по моему мнению, в этом-то и заключается различие между спекулятивной теорией и наукой, которая создается посредством объяснения эмпирических данных. Последняя охотно уступает спекулятивному умозрению все преимущества гладкой, логически безупречной обоснованности и готова удовлетвориться туманными, едва уловимыми основными положениями, надеясь по мере своего развития ясно их определить и, быть может, заменить их другими. Не эти идеи образуют ту основу, на которой зиждутся все построения нашей науки; такой основой является исключительно наблюдение. Идеи же эти составляют не самый нижний фундамент всего научного здания, а только верхушку, крышу его, и могут быть сняты и заменены другими без всякого вреда для целого. В последнее время мы переживали подобное явление в физике, основные взгляды которой о материи, центрах силы, притяжении и т. п. вряд ли внушают меньше сомнений, чем соответствующие положения в психоанализе.

Ценность понятий «Я-либидо», «объект-либидо» заключается в том, что они возникли благодаря переработке самых детальных незначительных особенностей невротических и психотических процессов. Подразделение либидо на относящееся к «Я» и на связанное с объектами непосредственно вытекает из первого положения, отделяющего сексуальное влечение от влечений «Я». Такое подразделение предписывается анализом чистых неврозов перенесения (истерии, навязчивых состояний), и я знаю только одно – что все другие попытки объяснить эти феномены потерпели полную неудачу.

При полном отсутствии какого-либо учения о влечениях, дающего возможность ориентироваться в этом вопросе, вполне допустимо или, лучше, даже необходимо проверить какое-нибудь одно предположение, последовательно проводя его до тех пор, пока оно не окажется несостоятельным или не подтверждается вполне. В пользу предполагаемого первичного подразделения на сексуальные влечения и влечения «Я» говорит, помимо удобства такого подразделения для аналитического изучения «неврозов перенесения», еще и многое другое. Я согласен, что один этот момент мог бы допускать еще и другое объяснение, так как в таком случае дело шло бы об индифферентной психической энергии, становящейся либидо лишь благодаря акту привязанности к объекту. Но, во-первых, разделение этих понятий соответствует общепринятым подразделению первичных влечений на голод и любовь. Во-вторых, в пользу его говорят биологические соображения. Индивид действительно ведет двойное существование – как самоцель и как звено в цепи, которой он служит против или, во всяком случае, помимо собственной воли. Даже сексуальность он принимает за нечто вполне соответствующее своим желаниям, между тем как с другой точки зрения сексуальность является только придатком к его зачаточной плазме, которому он отдает все свои силы в награду за наслаждение, являясь смертным носителем, быть может, бессмертной субстанции, подобно владельцу майоратного имущества, представляющему из себя только временного владельца переживающего его майоратного института. Подразделение на влечения «Я» и сексуальные влечения в таком случае явились бы только выражением двойной функции индивида. В-третьих, необходимо помнить, что все временно нами допущенные психологические положения придется когда-нибудь перенести на почву

их органической основы. Весьма вероятно, что тогда окажется, что особенные вещества и химические процессы выражаются в виде сексуальности, и через их посредство индивидуальная жизнь становится продолжением жизни рода. Мы считаемся с такой возможностью, подставляя вместо особых химических веществ соответствующие особые химические силы.

* * *

Именно потому, что я всегда стараюсь устраниТЬ из области психологии все чуждое ей, в том числе и биологическое мышление, я хочу в данном случае вполне определенно признать, что допущение отдельных влечений «Я» и сексуальных, т. е. теория либидо, меньше всего зиждется на психологических основах и по существу обоснована биологически. Я буду поэтому достаточно последовательным и откажусь от этого положения, если психологическая работа покажет, что по отношению к влечениям более удобно пользоваться другим предположением. До сих пор этого нет. Возможно, что сексуальная энергия либидо в глубочайшей основе своей и в конечном результате составляет только продукт дифференциации энергии, действующей вообще в психике. Но такого рода утверждение не имеет никакого значения. Оно относится к вещам, столь отдаленным от проблем, связанных с нашими наблюдениями, и имеет так мало фактического содержания в смысле положительных знаний, что с ним одинаково не приходится ни считаться, ни оспаривать его. Весьма возможно, что это первичное тождество энергии так же мало имеет общего с тем, что представляет для нас интерес с аналитической точки зрения, как первоначальное родство всех человеческих рас с требуемым властю доказательством родства с покойником, оставилшим наследство, для утверждения в правах наследства. Все эти рассуждения ни к чему не приводят; так как мы не можем ждать, пока какая-нибудь другая научная дисциплина преподнесет нам стройное и законченное учение о влечениях, то для нас гораздо целесообразнее попытаться узнать, какой свет может пролить на эти основные биологические загадки синтез психологических феноменов. ПримиРимся с возможностью ошибки, и пусть это не удержит нас от того, чтобы последовательно проводить вышеупомянутое предположение о противоположности влечений «Я» и сексуальных, которое стало для нас неизбежным выводом из анализа неврозов перенесения; но посмотрим далее, сможем ли мы плодотворно развивать такие предположения, не впадая во внутренние противоречия, и удастся ли нам применить их и при других заболеваниях, например, при шизофрении.



Одеяние невесты. Художник Макс Эрнст

Дело обстояло бы, разумеется, совершенно иначе, если бы было приведено доказательство, что теория либидо оказалась несостоятельной при Schizophrenia. К. Г. Юнг это утверждает, чем и принудил меня высказать все вышеизложенное, хотя я охотно воздержался бы от этого. Я предпочел бы молчаливо идти дальше той же дорогой, которую избрал в анализе случая Шребера, не касаясь тех основных положений, из которых я исходил. Но утверждение Юнга, по меньшей мере, слишком спешно. Приводимые им доказательства очень недостаточны. Сначала он ссылается на мое же собственное показание, утверждая, будто я сам почувствовал себя вынужденным ввиду трудностей анализа Шребера расширить понятие «либидо», т. е. отказаться от его чисто сексуального значения и допустить полное отождествление либидо с психическим интересом вообще. Ференци в исчерпывающей критике работы Юнга изложил уже все, что необходимо было для исправления такого неправильного толкования моих слов. Мне остается только согласиться с названным критиком и повторить, что я никогда и нигде не заявлял о таком отказе от теории либидо.

Второй аргумент Юнга, что трудно допустить, чтобы потеря нормальной функции реального могла быть обусловлена исключительно отщеплением либидо от своих объектов, представляет из себя не доказательство, а декрет; it begs the question, этот аргумент предрешает вопрос и делает всякое обсуждение его излишним, потому что вся суть вопроса в

том и заключается, что именно нужно доказать, возможно ли это, и если возможно, то каким образом.

* * *

Непосредственное изучение нарцизма, как мне кажется, встречает особые препятствия. Основным подходом к такому изучению останется, пожалуй, анализ парафрении. Подобно тому, как «неврозы перенесения» дали нам возможность проследить либидинозные проявления влечений, так изучение Dementia praesox и Paranoia позволит нам понять психологию «Я». И опять мы должны будем составить себе представление о том, что кажется простым у нормального человека на основании изуродованного и преувеличенного в патологических случаях. Но нам все же открываются еще некоторые другие пути, ведущие к более близкому знакомству с нарцизмом, и их-то я хочу по порядку описать. Пути эти составляют изучение психологии больного органической болезни, психологии ипохондрии и проявлений любовного чувства у обоих полов.

В оценке влияния органической болезни на распределение либидо я следую указаниям, полученным мною в беседе от Ш. Ференци. Как всем известно и кажется вполне понятным, человек, мучимый органической болью и неприятными ощущениями, теряет интерес к объектам внешнего мира, поскольку они не относятся к его страданиям. Более точное наблюдение показывает, что у него пропадает также и либидинозный интерес, он перестает любить, пока страдает. Банальность этого факта не должна нам помешать описать его, пользуясь терминологией теории либидо. Мы сказали бы в таком случае: больной сосредоточивает свое либидо на своем «Я», отнимая его у объектов, с тем, чтобы по выздоровлению вернуть его им. В. Буш говорит о поэте, страдающем зубной болью: «Душа пребывает исключительно в тесной ямке бокового зуба». Либидо и интересы «Я» испытывают при этом одну и ту же участь, и тогда их снова нельзя отделить друг от друга. Известный эгоизм больных берет верх над всеми интересами без исключения. Мы находим это вполне понятным, потому что прекрасно знаем, что, находясь сами в таком же положении, будем вести себя так же. Исчезновение самого сильного любовного порыва вследствие телесных заболеваний и смена его полным равнодушием составляет тему, которая находит широкое применение в юмористической литературе.

Как болезнь, так и состояние сна связано с нарцистическим возвратом либидо к самому себе или, точнее говоря, к единственному желанию спать. В полном согласии с этим находится и эгоизм сновидений. В обоих случаях мы имеем дело не с чем другим, как с изменением распределения либидо вследствие изменения Я-комплексов.

Ипохондрия, как и органическая болезнь, выражается в мучительных болезненных физических ощущениях и влияет на распределение либидо совершенно так же, как физическое заболевание. У ипохондрика исчезает интерес, как и либидо, – последнее особенно ясно – по отношению к объектам внешнего мира, и оба концентрируются на занимающем его внимание органе. Различие между ними в одном: при органической болезни мучительные ощущения являются следствием физических изменений, которые можно объективно доказать, а при ипохондрии этого нет. Но, оставаясь верным общему духу нашего обычного понимания патологических процессов при неврозах, мы могли бы высказать взгляд, что известная доля правды имеется и в ипохондрических представлениях, что кое-каких изменений в органах и при ипохондрии не может не быть. В чем же могли бы состоять такие изменения? В этом случае нами должно руководить то наблюдение, что и при других неврозах имеются физические ощущения неприятного свойства, сходные с ипохондрическими. Я уже однажды проявил склонность присоединить ипохондрию как третий актуальный невроз к неврастении и неврозу страха. Не будет, вероятно, преувеличением, если я скажу, что и при других неврозах, как правило, развивается также и известная доля ипохондрии. Лучше всего это можно наблюдать при неврозе страха и при развившейся на его почве истерии. Гениталии в состоянии возбуждения представляют из

себя образец такого болезненно-чувствительного, известным образом измененного, но в обычном смысле здорового органа. К ним направлен большой приток крови, они разбухли, пропитаны влагой и являются источником разнообразных ощущений. Если мы назовем функцию какого-нибудь органа, состоящую в том, что из этого органа посыпаются в психику сексуально возбуждающие раздражения, его эрогенностью, и если вспомним, что по соображениям, вытекающим из сексуальной теории, мы уже давно усвоили себе то положение, что гениталии могут быть заменены другими частями тела, так называемыми эрогенными зонами, то нам остается в данном случае сделать еще только один шаг. Нам нужно решиться видеть в эрогенности общее свойство всех органов тела, и мы сможем тогда говорить о повышении или понижении этой эрогенности в том или другом месте организма. Параллельно с каждым таким изменением эрогенности в органах могла бы изменяться концентрация либидо на «Я». В этих моментах мы должны искать первопричину ипохондрии, считая, что она может иметь на распределение либидо такое же влияние, какое имеет органическое заболевание какого-нибудь органа.

* * *

Нетрудно заметить, что, следуя такому ходу мыслей, мы наталкиваемся на проблему не только ипохондрии, но и других актуальных неврозов, неврастении и невроза страха. Но ограничимся вышеизложенным и не будем переступать границы психологии при изучении чисто психологических явлений, углубляясь так далеко в область физиологического исследования. Достаточно только упомянуть, что, исходя из данной точки зрения, можно предположить, что ипохондрия находится в таком же отношении к парофрении, в каком другие актуальные неврозы находятся к истерии и неврозу навязчивости, т. е. зависят в такой же степени от Я-либидо, как те от объект-либидо, а ипохондрический страх находится в таком же взаимоотношении к Я-либидо, в каком невротический страх относится к объект-либидо. Далее, если мы уже усвоили себе взгляд, что механизм заболевания и симптомообразования при «nevрозах перенесения», т. е. процесс развития от интроверсии к депрессии, необходимо связывать с накоплением и застоем либидо объектов, то мы должны также усвоить себе представление о накоплении в застое Я-либидо и привести его в связь с феноменами ипохондрии и парофрении.

Но тут мы должны будем задать себе другой интересный вопрос: почему такой застой либидо-Я ощущается как нечто весьма неприятное. Я ограничился бы ответом, что неудовольствие является выражением высшего напряжения, т. е. оно представляет собой известную величину материального процесса, ведущего к накоплению внутреннего напряжения, воспринимаемого психически как чувство неприятного, неудовольствия. Решающим моментом в развитии чувства неудовольствия является, однако, не абсолютная величина этого материального процесса, а скорее известная функция этой абсолютной величины. Стоя на такой точке зрения, можно решиться подойти вплотную к вопросу, откуда вообще берется психологическая необходимость переступить границы нарцизма и сосредоточить свое либидо на объектах. Ответ, вытекающий из общего хода наших рассуждений, следующий: необходимость в этом наступает тогда, когда концентрация либидо на «Я» переходит определенную границу. Сильный эгоизм защищает от болезни, но, в конце концов, необходимо начать любить для того, чтобы не заболеть, и остается только заболеть, когда вследствие несостоятельности своей лишаешься возможности любить. Это похоже приблизительно на то, как Г. Гейне изображает психогенезис сотворения мира:

Болезнь, вероятно, была последней причиной
Всего стремления к творчеству:
Созиная, мог я выздороветь,
Созиная, стал я здоров.

Нам известно, что наш душевный аппарат в первую очередь является для нас орудием, при помощи которого мы справляемся с возбуждениями, обыкновенно воспринимаемыми нами мучительно и грозящими оказать на нас патогенное влияние. Психическая переработка этих возбуждений достигает исключительного напряжения, чтобы направить по внутреннему душевному руслу те возбуждения, которые не способны найти себе непосредственный выход наружу или для которых в данную минуту нежелателен такой выход. Но для такой внутренней переработки сначала безразлично, производится ли она над реальными или воображаемыми объектами. Различие проявляется лишь позже, когда переход либидо на нереальные объекты (*Introversio*) ведет к застою его. Подобная же внутренняя переработка либидо, вернувшегося от объектов к «Я», делает возможным развитие бреда величия при парофрении; весьма вероятно, что только после того как проявляется несостоятельность этого бреда, концентрация либидо на «Я» становится патогенной и вызывает процесс, который в дальнейшем развитии своем наблюдается нами в форме болезни.

* * *

Теперь я попробую несколько углубиться в механизм парофрении и изложить некоторые взгляды, которые, как мне кажется, уже теперь заслуживают внимания. Различие между нарцисстическими заболеваниями (парофрения, паранойя) и неврозами перенесения я вижу в том, что либидо, освободившись вследствие несостоятельности данного лица в жизненной борьбе, не останавливается на объектах фантазии, а возвращается к Я; бред величия в таком случае соответствует психическому преодолению этих масс либидо, т. е. интроверсии в область фантазии при «неврозах перенесения»; несостоятельность этой психической деятельности (бреда) ведет к развитию ипохондрии при парофрении, вполне гомологичной страху при «неврозах перенесения». Нам известно, что страх этот может смениться дальнейшими продуктами психической переработки в виде конверсий, «реактивных образований», защитных мер (фобий). При парофрении вместо всех этих процессов наступает попытка к самоизлечению, которая и вызывает все наблюдаемые нами явления болезни. Так как парофрения часто – если не в большинстве случаев – влечет за собой лишь частичный уход либидо от объектов, то в картине ее можно различить три группы явлений: 1) явления, связанные с сохранившейся нормальностью или неврозом (остаточные явления); 2) явления болезненного процесса (отход либидо от объектов, сюда же относятся бред величия, ипохондрия, аффективные нарушения, все регрессии); 3) явления самоизлечения, возвращающего либидо к объектам по образцу истерии (*Dementia praesox*, *paraphrenia*) или по образцу невроза навязчивости (*paranoia*). Этот возврат привязанности либидо исходит из другого уровня психики и протекает при совершенно других условиях, чем первичные привязанности. Различие между образовавшимися при таком вторичном возврате либидо к объектам «неврозами перенесения» и соответствующими картинами нормального «Я» должно было бы раскрыть нам самое глубокое понимание структуры нашего душевного аппарата.

Третий подход к изучению нарцизма открывает нам любовная жизнь людей в ее различной дифференциации у мужчин и женщин. Подобно тому, как Я-либидо оказалось для нас сначала покрытым либидо-объектом, мы сначала заметили, что ребенок (и юноша) при выборе своих сексуальных объектов исходит из своих переживаний, связанных с удовлетворением основных потребностей влечений «Я».

Первые автоэротические сексуальные удовлетворения переживаются в связи с важными для жизни, служащими самосохранению функциями. Сексуальные влечения сначала присоединяются к удовлетворению влечения «Я» и лишь впоследствии приобретают независимую от последних самостоятельность; это присоединение оказывается, однако, также и в том, что лица, которые кормят, ухаживают и оберегают ребенка, становятся первыми сексуальными объектами его, как-то мать или лицо, заменяющее ее.

Наряду с этим типом и этим источником выбора объекта, который можно назвать

ищущим опоры типом, аналитическое исследование познакомило нас еще с одним типом, которого мы вовсе не ожидали встретить. Мы нашли – особенно ясно это наблюдается у лиц, у которых развитие либидо претерпело некоторое нарушение, как, например, у извращенных и гомосексуальных, – что более поздний объект любви избирается этими лицами не по прообразу матери, а по их собственному. Они, очевидно, в объекте любви ищут самих себя, представляют собой такой тип выбора объекта, который следует назвать нарцисстическим. Это наблюдение и послужило самым решающим мотивом, побудившим нас выставить положение, что нарцизм составляет определенную стадию развития либидо.

* * *

Мы вовсе не пришли к решению, что все люди распадаются на две резко различные группы в зависимости от того, имеется ли у них нарцисстический или опорный тип выбора объекта, а предпочитаем допустить, что каждому человеку открыты оба пути выбора объекта, и предпочтение может быть отдано тому или другому. Мы говорим, что человек имеет первоначально два сексуальных объекта: самого себя и воспитывающую его женщину, и при этом допускаем у каждого человека первичный нарцизм, который иногда может занять доминирующее положение при выборе объекта.

Сравнение мужчины и женщины показывает, что по отношению к типу выбора объекта наблюдаются основные, хотя, разумеется, и не абсолютно закономерные различия. Глубокая любовь к объекту по опорному типу в сущности характерна для мужчины. В ней проявляется такая поразительная сексуальная переоценка объекта, которая, вероятно, происходит от первоначального нарцизма ребенка и выражает перенесение и этого нарцизма на сексуальный объект. Такая сексуальная переоценка делает возможным появление своеобразного состояния влюбленности, напоминающего невротическую навязчивость, которое объясняется отнятием либидо у «Я» в пользу объекта. Иначе происходит развитие у более частого, вероятно, более чистого и настоящего типа женщины. Вместе с юношеским развитием и формированием до того времени латентных женских половых органов наступает в этих случаях усиление первоначального нарцизма, неблагоприятно действующего на развитие настоящей, связанной с сексуальной переоценкой любви к объекту. Особенно в тех случаях, где развитие сопровождается расцветом красоты, вырабатывается самодовольство женщины, вознаграждающее ее за то, что социальные условия так урезали ее свободу в выборе объекта.

Строго говоря, также женщины любят самих себя с той же интенсивностью, с какой их любят мужчина. У них и нет потребности любить, а есть потребность быть любимой, и они готовы удовлетвориться с мужчиной, отвечающим этому главному для них условию. Значение этого женского типа в любовной жизни людей нужно признать очень большим. Такие женщины больше всего привлекают мужчин не только по эстетическим мотивам, так как они обычно отличаются большой красотой, но также и вследствие интересной психологической констелляции. А именно нетрудно заметить, что нарцизм какого-нибудь лица, по-видимому, очень привлекает тех людей другого типа, которые отказались от переживания своего нарцизма в полном его объеме и стремятся к любви к объекту; прелесть ребенка заключается в значительной степени в его нарцизме, самодовольстве и недоступности так же, как и прелость некоторых животных, которые производят впечатление, будто им все в мире безразлично, как, например, кошки и большие хищники, и даже великие преступники и юмористы в поэзии захватывают нас благодаря той нарцисстической последовательности, с которой они умеют отстранять от своего «Я» все их призывающее. Словно мы завидуем им за то, что они сохранили счастливое душевное состояние неуязвимой позиции либидо, от которой мы уже давно отказались. Но большая прелесть нарцисстической женщины не лишена и оборотной стороны медали; добрая доля неудовлетворенности влюбленного мужчины, сомнения в любви женщины, жалобы на загадочность ее существа коренятся в этом несовпадении типов выбора объекта. Быть может,

нелишне будет здесь подчеркнуть, что при описании любви у женщины я далек от какой-либо тенденции унизить женщину. Помимо того, что мне чужды вообще какие бы то ни было тенденции, мне также известно, что такое развитие в различных направлениях дифференциации функций соответствует очень сложным биологическим отношениям; далее я готов допустить, что имеется много женщин, любящих по мужскому типу, и у них развивается и имеющаяся у такого типа сексуальная переоценка.

Но и для нарцистических, оставшихся холодными к мужчине женщин остается открытый путь, ведущий их к настоящей любви к объекту. В ребенке, которого они рожают, находят они как бы часть собственного тела в виде постороннего объекта, которому они могут подарить всю полноту любви к объекту, исходя из нарцизма. Другим женщинам не надо даже дожидаться ребенка, чтобы сделать в своем развитии шаг от (вторичного) нарцизма к любви к объекту. Сами же они до периода половой зрелости чувствовали себя как бы мальчиками, и некоторый период их развития отличался мужским характером; после того как с наступлением женской зрелости такого рода проявления исчезли, у них сохраняется способность испытывать влечение к определенному мужскому идеалу, являющемуся в сущности продолжением того мальчишеского существа, каким они прежде были.

* * *

В заключение этих заметок приведем краткий обзор путей выбора объекта. Любишь:

I. По нарцистическому типу: а) то, что сам собой представляешь (самого себя); Б) то, чем прежде был; с) то, чем хотел бы быть, d) лицо, бывшее частью самого себя.

II. По опорному типу: а) вскармливающую женщину, Б) защищающего мужчину и весь ряд приходящих им в дальнейшем на смену лиц.

Случай первого типа может быть вполне разъяснен и оправдан только в дальнейшем изложении. Значение нарцистического объекта при гомосексуальности у мужчин должно определяться только в связи с другими вопросами.

Предполагаемый нами первичный нарцизм ребенка, составляющий одну из предпосылок нашей теории либидо, легче подтвердить путем заключения, исходя из другой точки зрения, чем опираясь на непосредственное наблюдение. Если обратить внимание на хорошее отношение нежных родителей к их детям, то нельзя не увидеть в нем возрождение и воскрешение собственного, давно оставленного нарцизма.

В области чувств, как известно, в этих отношениях всецело господствует та переоценка объекта, значение которой в качестве нарцистического признака мы уже вполне оценили. Так, например, имеется навязчивая потребность приписывать ребенку все совершенства – к чему при более трезвом отношении не было бы никакого основания, и скрывать и забывать все его недостатки, что именно и находится в связи с отрицанием детской сексуальности. Кроме того, обнаруживается стремление устраниТЬ с дороги ребенка все те уступки требованиям культуры, с которыми пришлось считаться собственному нарцизму родителей, и восстановить по отношению к ребенку требования на все преимущества, от которых сами родители давно уже вынуждены были отказаться. Пусть ребенку будет лучше, чем его родителям, он должен быть свободен от всех тех требований рока, власти которых родителям пришлось подчиниться. Ребенка не должны касаться ни болезнь, ни смерть, ни отказ от наслаждений, ни ограничения собственной воли; законы природы и общества теряют над ним силу, он действительно должен стать центром и ядром мироздания. His Majesty the Baby (Его Величество Ребенок) – это то, каким когда-то родители считали самих себя. Он должен воплотить неисполненные желания родителей, стать вместо отца великим человеком, героем, получить в мужья принца – для позднего вознаграждения матери. Самый уязвимый пункт нарцистической системы, столь беспощадно изобличаемое реальностью бессмертие «Я», приобрело в лице ребенка новую почву и уверенность.

Трогательная и по существу такая детская родительская любовь представляет собой

только возрождение нарцизма родителей, который при своем превращении в любовь к объекту явно вскрывает свою прежнюю сущность.

* * *

Я хочу оставить в стороне вопрос о том, каким нарушениям подвержен первоначальный нарцизм ребенка, при помощи каких реакций он сопровождается в этих нарушениях и по каким путям при этом он вынужден идти, – этот важный научный вопрос еще ждет разработки. Самую важную часть его можно выделить в качестве комплекса кастрации (страх за *penis* у мальчика, зависть из-за *penis'* у девочки) и привести в связь с влиянием раннего запугивания в сексуальных вопросах. Психоаналитическое исследование, дающее нам обычно возможность проследить судьбу изолированных от влечений «Я» либидинозных влечений, когда они находятся в противоречии друг к другу, позволяет нам прийти к заключениям относительно того времени и того психического состояния, когда влечения другого рода действуют еще совместно и неразрывно смешаны в качестве нарцисстических интересов. Из этого взаимоотношения Адлер создал свой «мужской протест», которому он приписывает роль почти единственной творческой силы при образовании характера и неврозов, причем в основание его он кладет не нарцисстическое, т. е. все-таки либидинозное вление, а социальную оценку. С точки зрения психоаналитического исследования мною признавалось с самого начала существование и значение «мужского протesta», но в разрез с мнением Адлера я отстаивал его нарцисстическую природу и происхождение из «кастрационного комплекса». Он составляет только черту характера, в генезисе которого принимает участие наряду с другими факторами, и совершенно непригоден для объяснения проблемы неврозов, в которых Адлер считается только с тем, насколько они обслуживают интересы «Я». Мне кажется совершенно невозможным построить генезис неврозов на узкой базе кастрационного комплекса у мужчин среди других видов сопротивления излечению невроза. Мне известны, наконец, случаи неврозов, в которых мужской протест, или в нашем смысле кастрационный комплекс, не играет вовсе патологической роли или вообще не встречается.

Наблюдение над нормальным взрослым человеком показывает, что его детский бред величия ослаблен, и психические признаки, по которым мы заключаем о его инфантильном нарцизме, слажены. Что же стало с его Я-либидо (*Ich libido*)? Должны ли мы полагать, что все оно ушло целиком на привязанность к объекту? Эта возможность, очевидно, противоречит всему характеру наших объяснений; но психология вытеснения указывает нам на возможность другого ответа на этот вопрос.

Мы уже знаем, что либидинозные влечения подвержены участии патогенного вытеснения, если они вступают в конфликт с культурными и этическими представлениями индивида. Под последним условием не понимается, что у личности об этих представлениях имеется только интеллектуально знание и что она постоянно признает за этими представлениями руководящее значение в жизни и подчиняется содержащимся в них требованиям. Вытеснение, как мы сказали, исходит от «Я», точнее сказать, из самоуважения «Я». Те же впечатления, переживания, импульсы, желания, которые один человек у себя допускает или, по крайней мере, сознательно перерабатывает, отвергаются другим с полным негодованием или подавляются даже до того, как они достигают сознания. Но различие между обоими, обусловливающее вытеснение, легко формулировать в выражениях, допускающих применение по данному вопросу теории либидо. Мы можем сказать: один создал идеал, с которым он сравнивает свое действительное «Я», между тем как у другого такой идеал отсутствует. Образование идеала является, таким образом, условием вытеснения со стороны «Я».

Этому идеалу «Я» досталась та любовь к себе, которой в детстве пользовалось действительное «Я». Нарцизм оказывается перенесенным на это новое идеальное «Я», которое, подобно инфантильному, обладает всеми цennыми совершенствами. Человек

оказался в данном случае, как и во всех других случаях в области либидо, не в состоянии отказаться от некогда испытанного удовлетворения. Он не хочет поступиться нарцисстическим совершенством своего детства, и когда со временем и с возрастом ставит перед самим собой его как идеал, то это есть только возмещение утерянного нарцизма детства, когда он сам был собственным идеалом.

* * *

Само собой напрашивается в таком случае исследование взаимоотношений между этим образованием идеала и сублимированием. Сублимирование – процесс, происходящий с объектом либидо, и состоит в том, что влечение переходит на иную цель, далекую от сексуального удовлетворения; суть при этом заключается в отвлечении от сексуального. Идеализация – процесс, происходящий с объектом, благодаря которому этот объект, не изменяясь в своей сущности, становится психически более значительным и получает более высокую оценку. Идеализация одинаково возможна как в области Я-либидо, так и объект-либидо. Так, например, половая переоценка объекта является его идеализацией. Поэтому, поскольку сублимирование описывает нечто происходящее с влечением, а идеализация – с объектом, их приходится считать различными понятиями. Но если изменить точку зрения, то можно описать идеализацию как своего рода сублимирование в широком смысле слова.

В ущерб правильному пониманию часто смешивают образование Я-идеала с сублимированным влечением. Тот, кто отказался от своего нарцизма во имя высокого Я-идеала, не должен еще благодаря этому непременно успешно сублимировать свои либидинозные влечения. Хотя Я-идеал и требует такого рода сублимирования, но не может его вынудить; сублимирование остается особым процессом, развитие которого совершенно не зависит от того, чем этот процесс вызван. Именно у невротиков можно найти самые резкие различия в степени развития Я – идеала и сублимирования примитивных либидинозных влечений, и в общем гораздо труднее убедить идеалиста в том, что либидо его находит нецелесообразное применение, чем простого, скромного в своих требованиях человека. Также совершенно различно отношение образования идеала и сублимирования к тому, что обуславливает невроз. Образование идеала повышает требования «Я» и является самым сильным благоприятствующим моментом для вытеснения; сублимирование представляет собой тот выход, благодаря которому это требование может быть исполнено без всякого вытеснения.



Художник и модель. Художник Георг Гросс

Ничего не было бы удивительного, если бы нам удалось найти особую психическую инстанцию, имеющую своим назначением обеспечить нарцисстическое удовлетворение, исходящее из идеала «Я», и с этой целью беспрерывно наблюдающую за действительным «Я», сравнивая его с идеалом. Если подобная инстанция существует, то для нас, понятно, исключается возможность открыть ее; мы можем только узнать ее как таковую и признать, что то, что мы называем своей совестью, носит все признаки такой инстанции. Признание этой инстанции дает нам возможность понять так называемый бред отношений, который так ясно проявляется в симптоматологии параноидных заболеваний, но встречается и как изолированное заболевание или вплетается в картину неврозов перенесения. Больные жалуются тогда на то, что все их мысли известны, за всеми их действиями наблюдают и следят, о бдительности этой инстанции их информируют голоса, которые – что особенно характерно – обращаются к ним в третьем лице («а вот теперь она думает об этом, сейчас он уходит»). Эта жалоба правильна, она рисует истинное положение вещей. Подобная сила, которая следит за всеми нашими намерениями, узнает их и критикует, действительно существует даже у всех нас в нормальной жизни. Бред наблюдения изображает ее в первоначальной регрессивной форме, при этом раскрывает ее генезис и основание – почему больной и восстает против нее.

* * *

Побуждением к образованию идеала «Я», стражем которого призвана быть совесть, послужило влияние критики родителей, воплощенное в слуховых галлюцинациях, а к родителям со временем примкнули воспитатели, учителя и весь необозримый и неопределенный сонм других лиц, составляющих общественную среду (окружающие, общественное мнение).

Большие количества преимущественно гомосексуального либидо принимают, таким образом, участие в образовании нарцистического идеала «Я» и в сохранении этого идеала находят применение и удовлетворение. Институт совести сначала был, в сущности, воплощением родительской критики, в дальнейшем – критики общества, – процесс, который повторяется в тех случаях, когда под влиянием сначала внешнего запрета или препятствия развивается склонность к вытеснению. Благодаря болезни проявляются слуховые галлюцинации в виде голосов, как и неопределенная масса лиц, олицетворяемая этими голосами, и в такой болезненной форме воспроизводится регressive история развития совести. А возмущение против этой цензорской инстанции происходит оттого, что личность больного, соответственно основному характеру болезни, стремится освободиться от всех этих влияний, начиная с родительского, отвлекая от них гомосексуальное либидо. Совесть, регressive изображение которой представляют собой галлюцинации, выступает тогда против личности в форме враждебного влияния извне.

Жалобы параноиков показывают также, что самокритика совести по существу совпадает с самонааблюдением, на котором зиждется. Психическая инстанция, взявшая на себя функцию совести, тут начинает служить целям того же внутреннего самоисследования, которое доставляет философии материю для ее мыслительных операций. Это, должно быть, имеет значение для развития склонности к конструированию спекулятивных систем, которой отличается паранойя.

Для нас важно будет открыть и в других областях признаки деятельности этой критикующей и наблюдающей деятельности, усиление которой ведет к развитию совести и философского самосознания. К этим признакам я отношу то, что Г. Зильберер описал под названием «функционального феномена» – одно из немногих дополнений к изучению о сновидениях, ценность которого неоспорима. Зильберер, как известно, показал, что в состояниях между сном и бодрствованием можно непосредственно наблюдать превращение мыслей в зрительные картины, но что при таких условиях часто представляется в виде картины не содержание мыслей, а состояние (предрасположение к усталости и т. д.), в котором находится борющееся со сном лицо. Также он показал, что некоторые окончания и отрывки из содержания сновидений означают только то, что спящий сам начинает сознавать состояние сна и пробуждения. Он доказал, таким образом, что самонааблюдение в смысле параноического бреда наблюдения (*Beobachtungswahn*) принимает участие в образовании сновидений. Это участие непостоянно. Вероятно, я его потому проглядел, что оно не играет большой роли в моих собственных снах; у философски одаренных, привыкших к самосозерцанию лиц оно может быть очень ясно.

Вспомним, что образование сновидений происходит под властью цензуры, которая требует искажения мыслей сновидений. Под этой цензурой мы не представляем себе какой-либо особенной силы, а воспользовались этим словом для обозначения вытесняющих тенденций, направленных на мысли сновидений, во власти которых «Я» находится, и если мы больше углубимся в подробности структуры «Я», то сможем в идеале «Я» и динамических проявлениях совести узнать также цензора сновидений. Если этот цензор хоть немного наблюдает за душевными процессами во время сна, то вполне понятно, чем обусловлена его деятельность, т. е. что самонааблюдение и самокритика в замечаниях вроде: теперь он слишком хочет спать, чтобы думать, теперь он просыпается и входит в содержание сновидений.

* * *

С этой точки зрения мы должны попытаться рассмотреть вопрос о самочувствии у нормального человека и у невротиков.

Самочувствие кажется, прежде всего, выражением величины «Я» независимо от того, из чего оно состоит. Все, чем владеешь и что достигнуто, всякий подтвержденный опытом остаток примитивного чувства всемогущества содействует поднятию самочувствия.

Придерживаясь нашего различия между сексуальными влечениями «Я», мы должны признать за самочувствием особенно сильную зависимость от нарцистического либидо. При этом мы опираемся на два основных факта: что при парафrenиях самочувствие повышенено, а при «неврозах перенесения» понижено, и что в любовной жизни у нелюбимого человека приижается самочувствие, а у любимого – повышается. Мы указали, что быть любимым составляет цель и даст удовлетворение при нарцистическом выборе объекта.

Далее легко наблюдать, что либидо, привязанное к объектам, не повышает самочувствия. Зависимость от любимого действует принижающим образом: кто влюблен – тот удручен. Кто любит, тот, так сказать, лишился части своего нарцизма и может его вернуть, лишь будучи любимым. При всех этих взаимоотношениях самочувствие, кажется, остается в зависимости от того, какую долю в любовной жизни занимает нарцизм.

Сознание своей импотенции, собственной невозможности любить вследствие душевного или телесного заболевания действует в высшей степени принижающе на самочувствие. Здесь, по моему мнению, нужно искать один из источников так охотно выставляемого невротиками напоказ чувства своей малоценностии. Но главным источником этих чувств является обеднение «Я», которое вытекает из необычайно больших привязанностей либидо к объектам за счет «Я», т. е. повреждение «Я» вследствие сексуальных стремлений, не поддающихся более его контролю.

А. Адлер правильно подчеркнул, что сознание собственной органической малоценностии действует возбуждающе на работоспособность душевной жизни и вызывает повышенную продуктивность посредством сверхкомпенсаций. Но было бы большим преувеличением объяснять всякую большую трудоспособность этой первоначальной малоценностю органов. Не все художники страдают недостатком зрения, не все ораторы были сперва заиками: есть много проявлений исключительной трудоспособности на почве прекрасной физической одаренности органов. В этиологии неврозов органическая малоценност играет первоначальную роль такую же, как актуальное восприятие для образования сновидений. Невроз пользуется ею как предлогом, как и всякими другими подходящими моментами. Но если поверишь невротической пациентке, что она должна была заболеть потому, что она некрасива, неправильно сложена, непривлекательна, так что ее никто не может любить, то следующая же больная докажет противное, упорствуя в своем неврозе и отказе от всего полового, хотя она кажется необычайно обворожительной и желанной. Истерические женщины в большинстве случаев принадлежат к типу привлекательных и даже красивых представительниц своего пола, а, с другой стороны, так часто встречающиеся у низших классов нашего общества безобразие и уродство органов и телесных пороков не вызывают увеличения числа невротических заболеваний в их среде.

Отношение самочувствия к эротике (и к либидинозным привязанностям, и к объектам) можно формулировать следующим образом: нужно различать два случая – оправдывает ли «Я» эти любовные привязанности или, напротив, они подверглись вытеснению. В первом случае (при оправдываемом «Я» израсходовании либидо) любовь ценится, как и всякое другое активное проявление «Я». Любовь сама по себе с ее тоской и страданиями понижает самочувствие, но быть любимым, находить взаимность в любви, обладать любимым объектом – все это поднимает снова самочувствие. При вытеснении либидо привязанности любви чувствуются как жестокое унижение «Я»: любовное удовлетворение невозможно, обогащение «Я» возможно только в том случае, если либидо будет снова отнято от объектов и возвращено «Я». Такое возвращение объект-либидо к «Я», превращение его в нарцизм как

бы снова создает условия счастливой любви, а, с другой стороны, реальная счастливая любовь соответствует тому первичному состоянию, в котором объект и либидо неразличимы.

* * *

Ввиду важности предмета и трудности разобраться в нем позорительно будет набросать здесь вкратце и другие, не приведенные еще в полный порядок взгляды и мнения.

Развитие «Я» связано с отходом от первичного нарцизма и вызывает интенсивное стремление опять вернуться к нему. Отход этот происходит посредством перемещения либидо на навязанный извне идеал «Я», а удовлетворение придается осуществлением этого идеала. Одновременно «Я» отдает свои либидинозные привязанности объектам. Ради этих привязанностей, как идеал «Я», оно само становится беднее в отношении либидо и вторично обогащается им посредством удовлетворения от объектов благодаря воплощению идеала.

Известная доля самочувствия первична, это остаток детского нарцизма, другая часть исходит от подтвержденного опытом всемогущества (воплощения Я-идеала), третья часть – из удовлетворения объект-либидо.

Я-идеал поставил удовлетворение либидо на объектах в тяжелые условия, так как через посредство своей цензуры он заставляет отказаться от некоторых частных форм удовлетворения как от недопустимых. Там, где такой Я-идеал не развился, там соответствующее сексуальное стремление входит неизмененным в состав личности в виде перверсий. Быть опять своим собственным идеалом даже в отношении своих сексуальных стремлений, как это было в детстве, – вот чего люди стремятся достичь как высшего счастья.

Влюбленность состоит в излиянии Я-либидо на объект. Она обладает достаточной силой, чтобы уничтожить вытеснения и восстановить перверсии. Она поднимает сексуальный объект до степени сексуального идеала. Так как она происходит по объектному или опорному типу на почве осуществления инфантильных условий любви, то можно сказать: все, что осуществляют эти условия любви, идеализируется.

Сексуальный идеал может вступить с Я-идеалом в интересное отношение взаимопомощи. Там, где нарцисстическое удовлетворение наталкивается на реальные препятствия, сексуальный идеал может быть исследован для того, чтобы получить взамен его удовлетворение. Иногда любовь по типу нарцисстического выбора объекта – то, чем человек был и перестал быть, или то, что имеет такие качества, которыми вообще не обладаешь. Формула, соответствующая параллельно предыдущей, гласит: любят то, что обладает теми качествами, которых не хватает «Я» для достижения своего идеала. Этот случай помохи имеет особое значение для невротика, «Я» которого беднеет благодаря чрезмерной привязанности к объекту и не в состоянии осуществить свой Я-идеал. Он ищет тогда возврата к нарцизму от своего расточительного израсходования либидо на объекты, избирая себе по нарцисстическому типу сексуальный идеал, который обладает недосягаемыми для него, невротика, качествами. Это и есть излечение через любовь, которое он обычно предпочитает аналитическому. Он и не верит в другой механизм исцелений, с ожиданием именно такого исцеления он большей частью приступает к лечению и связывает это ожидание с личностью лечащего его врача. Этому типу исцеления препятствует неспособность больного любить всех вследствие его больших вытеснений. Если лечение до известной степени помогло против последних, то часто наступает неожиданный успех, заключающийся в том, что больной отказывается от дальнейшего лечения для того, чтобы сделать выбор в любви и предоставить дальнейшее выздоровление влиянию совместной жизни с любимым человеком. С таким исходом можно было бы мириться, если бы он не заключал в себе все опасности удручающей зависимости от этого нового спасителя в беде.

От идеала «Я» широкий путь ведет к пониманию психологии масс. Этот идеал помимо индивидуального имеет еще социальную долю, он является также общим идеалом семьи, сословия, нации. Кроме нарцисстического либидо, он захватил также большое количество

гомосексуального либидо данного лица, которому таким путем возвращено «Я». Неудовлетворение вследствие неосуществления этого идеала освобождает гомосексуальное либидо, которое превращается в сознание своей вины (социальный страх). Сознание вины было сначала страхом перед наказанием родителей, правильней – перед лишением их любви, позже место родителей заняла неопределенная масса современников. Таким образом, понятным становится частое заболевание паранойей вследствие обиды, нанесенной «Я», благодаря невозможности найти удовлетворение в области Я-идеала, а также совпадение в идеале «Я» образования идеала и сублимирования и разрушения сублимирования, а иногда при парапренических заболеваниях полные перемены в области идеалов.

Эрос и садизм: инстинкты жизни и смерти

Я думаю, что следует различать два вида первичных позывов, определяющих «Я», из которых один – сексуальные инстинкты, или Эрос – гораздо более заметен и более доступен для изучения. Этот вид охватывает не только непосредственный безудержный сексуальный первичный позыв и исходящие от него целепрергражденные и сублимированные движения первичного позыва, но и инстинкт самосохранения, который мы должны приписать «Эго» или «Я».

Мы по веским причинам противопоставляем этот инстинкт сексуальным первичным позывам, направленным на объект. Гораздо труднее для нас определение второго вида первичных позывов – мы пришли к убеждению, что представителем его является садизм. На основе теоретических, опирающихся на биологию размышлений мы предполагаем наличие инстинкта смерти, задачей которого является приводить все органически живущее к состоянию безжизненности; в то же время Эрос имеет целью осложнять жизнь все более широким объединением рассеянных частиц живой субстанции – конечно, с целью сохранить при этом жизнь. Оба первичных позыва проявляют себя в строжайшем смысле консервативно, стремясь к восстановлению состояния, нарушенного возникновением жизни. Возникновение жизни было бы, таким образом, причиной дальнейшего продолжения жизни и одновременно причиной стремления к смерти – сама жизнь была бы борьбой и компромиссом между этими двумя стремлениями. Вопрос о происхождении жизни остался бы космологическим, а на вопрос о цели и назначении жизни ответ был бы дуалистическим.

Каждому из этих двух видов первичных позывов был бы приписан особый физиологический процесс (рост и распад), и в каждой живой субстанции действовали бы оба первичных позыва, но все же в неравных долях, чтобы одна субстанция могла быть главным представителем Эроса.

Было бы совершенно невозможно представить себе, каким образом оба первичных позыва соединяются, смешиваются и сплавляются друг с другом; но что это происходит регулярно и в значительных масштабах – является для нас неопровергимой предпосылкой. В результате соединения одноклеточных организмов в многоклеточные удалось бы нейтрализовать инстинкт смерти отдельной клетки и при помощи особого органа отвести разрушительные склонности на внешний мир. Этим органом была бы мускулатура, и инстинкт смерти – все-таки, вероятно, только частично – выразился бы в виде разрушительного первичного позыва, направленного на внешний мир и другие живые существа.

* * *

Если мы уже согласились с представлением о смешении обоих видов первичных позывов, то напрашивается возможность и другого представления, а именно: возможности – более или менее полного – распада их на первоначальные. В садистическом компоненте сексуального первичного позыва мы имели бы тогда классический пример целесообразного смешения первичных позывов, в ставшем самостоятельным садизме, в качестве

извращения, – пример такого распада, правда, не дошедшего до крайности. Тогда нам открывается понимание большой области фактов, которая еще не рассматривалась в этом свете. Мы узнаем, что разрушительный первичный позыв регулярно служит Эросу в целях разгрузки, и догадываемся, что эпилептический припадок является продуктом и признаком распада первичных позывов на первоначальные; мы начинаем понимать, что в последствиях многих тяжелых неврозов, например, неврозов принуждения, особого внимания заслуживает распад первичных позывов смерти. Обобщая вкратце сказанное, нам хочется предположить, что сущность регресса в либидо – например, от генитальной до садистически-аналльной фазы, – основывается на распаде первичных позывов и наоборот: развитие от ранней к окончательной генитальной фазе имеет условием увеличение эротических компонентов. Возникает и вопрос: не следует ли понимать регулярную амбивалентность, которая так часто усиlena при конституциональном предрасположении к неврозу, как результат распада; он, однако, так первоначален, что его скорее следует рассматривать как несовершившееся смешение первичных позывов.

Наш интерес направится, конечно, на вопрос: нельзя ли найти разъясняющие соотношения между принятыми нами образованиями «Я», «Сверх-Я» и «Оно» с одной стороны и обоими видами первичных позывов с другой стороны; и далее – можем ли мы для принципа наслаждения, господствующего над душевными процессами, установить твердую позицию в отношении обоих первичных позывов и психических дифференциаций. Но прежде чем приступить к дискуссии, мы должны покончить с одним сомнением, которое направлено против самой постановки проблемы. Правда, в наличии принципа наслаждения нельзя сомневаться, деление «Я» основано на клинических подтверждениях; но распознавание обоих видов первичных позывов кажется недостаточно твердо обеспеченным и, возможно, что факты клинического анализа от своих требований откажутся.

Такой факт, как видно, существует. Как на противоположность между обоими видами первичных позывов мы можем указать на полярность любви и ненависти. Мы не затрудняемся репрезентировать Эрос, но зато очень довольны, что для трудно определимого инстинкта смерти мы нашли представителя в разрушительном инстинкте, которому указывает путь ненависть. Но клиническое наблюдение учит нас тому, что ненависть не только неожиданным образом постоянный спутник любви (амбивалентность), не только частый ее предшественник в человеческих отношениях, но и что ненависть при различных условиях превращается в любовь, а любовь – в ненависть. Если это превращение больше, чем лишь последовательность во времени, т. е. смена, то, очевидно, не имеет под собой почвы такое основополагающее различие, как различие между эротическими инстинктами смерти, предполагающее противоположно идущие физиологические процессы.

Но тот случай, когда одного и того же человека сначала любят, а потом ненавидят, или наоборот – если он дает к этому поводы – очевидно, не относится к нашей проблеме. Не относится к ней и другой случай: когда еще не проявленная влюбленность сначала выражает себя как враждебность и склонность к агрессии, так как тут разрушительный компонент при загрузке объектом мог предшествовать, а затем к нему присоединяется компонент эротический. Но мы знаем несколько случаев из психологии неврозов, в которых факт превращения более возможен. При *paranoia persecutoria* большой известным образом защищается от слишком сильной гомосексуальной привязанности к определенному лицу с тем результатом, что это чрезвычайно любимое лицо становится преследователем, против которого направлена часто опасная агрессия больного. Мы имеем право включить соображение, что какая-то предшествующая фаза превратила любовь в ненависть. Аналитическое исследование совсем недавно пришло к выводу, что при возникновении гомосексуальности, а также и десексуализированных сексуальных чувств, существуют сильные чувства соперничества, ведущие к агрессии, и только после преодоления их ранее ненавидимое лицо делается лицом любимым или предметом идентификации. Возникает вопрос: можно ли считать этот случай прямым превращением ненависти в любовь? Ведь здесь речь идет о чисто внутренних изменениях, в которых изменившееся поведение объекта

не принимает участия. Но аналитическое исследование процесса при параноидном превращении знакомит нас с возможностью существования другого механизма. С самого начала имеется амбивалентная установка, и превращение совершается путем реактивного смещения нагрузки объекта, причем у эротического чувства отнимается энергия и передается энергии враждебной.

Не то же самое, но сходное происходит при преодолении враждебного соперничества, ведущего к гомосексуализму. Враждебная установка не имеет шансов на удовлетворение, поэтому, следовательно, из экономических мотивов она сменяется любовной установкой, представляющей больший шанс на удовлетворение, т. е. на возможность разрядки. Поэтому ни для одного из этих случаев нам не приходится принимать прямого превращения ненависти в любовь, которое не согласовывалось бы с квалитативным различием обоих видов первичного позыва.

Но мы замечаем, что признанием этого другого механизма превращения любви в ненависть, мы молча сделали другое предположение, которое заслуживает того, чтобы его огласили. Мы действовали так, как будто в психической жизни – еще неизвестно, в «Я» или в «Оно» – существует способная к смещению энергия, сама по себе индифферентная, которая может примкнуть к квалитативно-дифференциированному эротическому или разрушительному импульсу и его повысить. Мы вообще не можем обойтись без предположения такой способной к смещениям энергии. Вопрос лишь в том, откуда она берется, к чему она принадлежит и что она означает.

* * *

Проблема качества первичных позывов и их сохранения при различных судьбах первичных позывов еще очень непроницаема и в настоящее время еще почти не разработана. На частичных сексуальных первичных позывах, особенно доступных наблюдению, можно установить некоторые процессы, входящие в те же рамки: например, то, что частичные первичные позывы до известной степени общаются друг с другом, что один первичный позыв из особого эрогенного источника может отдавать свою интенсивность для усиления частичного первичного позыва из другого источника, что удовлетворение одного первичного позыва возмещает удовлетворение другого и т. п., и все это дает нам смелость сделать некоторого рода предположения.

В данной дискуссии я могу предложить тоже лишь предположение, а не доказательство. По-видимому, приемлемо, что эта способная к смещению и индифферентная энергия, действующая, вероятно, в «Я» и «Оно», имеет источником запас нарцисстического либido, т. е. представляет собой десексуализированный Эрос. Эротические первичные позывы ведь и вообще кажутся нам более пластичными, более способными к отвлечению, чем разрушительные первичные позывы. Тогда можно без натяжки предположить, что это способное к смещению либido работает на пользу принципа наслаждения, для избежания заторов и облегчения разгрузок. При этом нельзя не заметить известного безразличия к тому, каким путем совершается разгрузка – если только она вообще совершается. Мы знаем, что эта черта характерна для процессов загрузки в «Оно». Она имеется при эротических загрузках, причем в отношении объекта развивается особое равнодушие, в особенности при перенесениях в психоанализе, которые должны быть произведены – безразлично на каких именно лиц. Рэнк недавно привел прекрасные примеры того, что невротические реакции мести направляются на неправильное лицо. При этом проявлении бессознательного вспоминается ставший комичным анекдот, как один из трех деревенских портных должен был быть повешен, потому что единственный в деревне кузнец совершил преступление, караемое смертью. Наказание должно иметь место, даже если наказан будет невиновный. Этую же шаткость мы впервые заметили на смещениях первичного процесса в работе сновидений. Как здесь объекты, так в интересующем нас случае способы разгрузки будут приниматься во внимание лишь во вторую очередь. В большем соответствии с «Я» было бы

настаивание на большей точности как выбора объекта, так и способа разгрузки.

Если эта энергия смещения является десексуализированным либидо, то ее можно назвать и сублимированной, так как она все еще придерживалась бы главной цели Эроса – соединять и связывать, служа установлению того единства, которым – или стремлением к которому – отличается «Я». Если мыслительные процессы в более широком смысле мы включим в эти смещения, то, конечно, и мыслительная работа совершается путем сублимации эротической энергии.

Здесь мы снова находимся перед ранее упомянутой возможностью, что сублимация регулярно происходит при посредничестве «Я». Вспомним и другой случай, когда это «Я» выполняет первые и, конечно, более поздние загрузки объектом «Оно» тем, что принимает в себя их либидо и связывает с изменением «Я», вызванным идентификацией. С этой перестройкой в либидо «Я» связан, конечно, отказ от сексуальных целей – десексуализация. Во всяком случае, так мы получаем представление о важной работе «Я» в его отношении к Эросу. Тем, что таким способом «Я» овладевает либидо объектных загрузок, объявляя себя объектом любви, десексуализирует или сублимирует либидо «Оно», «Я» работает против целей Эроса, начинает служить вражеским первичным позывам. «Я» должно примириться с другой частью объектной нагрузки «Оно», должно, так сказать, в ней участвовать. Позже мы разберем другое возможное следствие этой деятельности «Я».

* * *

Теперь следовало бы предпринять новое важное истолкование учения о нарциссизме. Первоначально все либидо скапливается в «Оно», в то время как «Я» только еще начинает образовываться или еще не окрепло. Одну часть этого либидо «Оно» направляет на эротические объектные нагрузки, после чего окрепшее «Я» стремится овладеть этим объектным либидо и навязать себя «Оно» в качестве объекта любви. Таким образом, нарциссизм «Я» является вторичным, от объектов отвлеченным.



Садистки. Художник Отто Дикс

Мы все снова убеждаемся, что движения первичных позывов, которые мы можем проследить, оказываются отпрысками Эроса. Нам было бы трудно удержать основное дуалистическое воззрение, если бы у нас не было соображений, изложенных в «По ту сторону принципа наслаждения», и, наконец, садистических дополнений к Эросу. Но так как мы вынуждены это сделать, то у нас должно создаться впечатление, что инстинкты смерти в основном немы, а шум большей частью исходит от Эроса.

А борьба против Эроса! Невозможно отклонить взгляд, что принцип наслаждения служит для «Оно» компасом в борьбе против либидо, которое вносит в процесс жизни помехи. Если в жизни господствует принцип константности в духе Фехнера, которая, следовательно, должна была бы быть скольжением в смерть, то требования Эроса, сексуальных первичных позывов, являются тем, что в виде потребностей первичных позывов задерживает снижение уровня и вносит новые напряженности. От них разными способами защищается «Оно», руководимое принципом наслаждения, т. е. восприятием неудовольствия. Сначала – путем по возможности ускоренной уступчивости к требованиям недесексуализированного либидо, т. е. борьбой за удовлетворение прямых сексуальных стремлений. И в гораздо большем масштабе, освобождаясь при одном из таких удовлетворений, когда сливаются воедино все разделенные требования, от сексуальных субстанций, которые являются, так сказать, насыщенными носителями эротических

напряженностей. Извержение сексуальной материи в сексуальном акте до известной степени соответствует разделению сомы и зародышевой плазмы. Отсюда сходство состояния после полного сексуального удовлетворения с умиранием, а у низших животных – совпадение смерти с актом зарождения. Эти существа умирают при размножении, поскольку после выключения Эроса путем удовлетворения инстинкт смерти получает полную свободу осуществления своих намерений. Наконец, «Я», как мы слышали, облегчает «Оно» работу преодоления, сублимируя части либидо для себя и своих целей.

* * *

Сложность материала пусть оправдает то, что мы, приступая к изучению новых отношений, снова и снова возвращаемся к нами уже выясненному.

Так, мы уже неоднократно повторяли, что «Я» по большей части образуется из идентификаций, сменяющих растворенные нагрузки «Оно»; что первые из этих идентификаций регулярно проявляют себя в «Я» как особая инстанция, противопоставляют себя «Я» как «Сверх-Я», в то время как окрепшее «Я» позднее может проявлять больше устойчивости против таких влияний идентификации. «Сверх-Я» обязано своим особым положением в «Я» – или по отношению к «Я» – одному моменту, который следует расценивать с двух сторон; во-первых, это – первая идентификация, которая произошла, пока «Я» было еще слабым, и, во-вторых, оно является наследником эдипова комплекса, следовательно, внесло в «Я» самые грандиозные объекты. К позднейшим изменениям «Я» оно до известной степени относится так, как первичная сексуальная фаза детства относится к дальнейшей сексуальной жизни по достижении половой зрелости. Хотя и доступное всем дальнейшим влияниям, оно на всю жизнь сохраняет характер, полученный им вследствие своего происхождения от Эдипова комплекса, а именно – способность противопоставлять себя «Я» и преодолевать его. Оно – памятник былой слабости и зависимости «Я» и продолжает свое господство и над зрелым «Я». Как ребенок был принужден слушаться своих родителей, так и «Я» подчиняется категорическому императиву своего «Сверх-Я».

Но происхождение от первых объективных загрузок «Оно», следовательно – от эдипова комплекса, означает для «Сверх-Я» еще больше: это происхождение, как мы уже объясняли, ставит его в связь с филогенетическими приобретениями «Оно» и делает «Сверх-Я» перевоплощением прежних образований «Я», оставивших свои следы в «Оно». Таким образом, «Сверх-Я» всегда близко к «Оно» и может в отношении «Я» быть его представителем. Оно глубоко погружается в «Оно» и поэтому больше отдалено от сознания, нежели «Я».

Эти соотношения мы оценим лучше всего, если обратимся к известным клиническим фактам, которые давно уже не являются новостью, но все еще ожидают теоретической разработки.

Есть лица, очень странно ведущие себя во время аналитической работы. Если им дают надежду и высказывают удовлетворение успехом лечения, они кажутся недовольными и регулярно ухудшают свое состояние. Сначала это принимаешь за упрямство и старание доказать врачу свое превосходство. Позднее приходишь к более глубокому и более справедливому пониманию: убеждаешься не только в том, что эти лица не переносят похвалы и признания, но и в том, что на успехи лечения они реагируют обратным образом. Каждое частичное разрешение проблемы, которое должно было бы иметь результатом улучшение или временное выпадение симптомов – и у других его и вызывает – у них вызывает немедленное усиление их страдания: их состояние во время лечения ухудшается вместо того, чтобы улучшаться. Они проявляют так называемую негативную терапевтическую реакцию.

Нет сомнения, что что-то в них противится выздоровлению, что его приближения боятся так, как боятся опасности. Говорят, что у таких лиц преобладает не воля к выздоровлению, а потребность болезни. Если анализировать это сопротивление обычным

образом, исключить из него упрямое отношение к врачу и фиксацию на формах хода болезни, то все же большая часть еще остается и оказывается сильнейшим препятствием для выздоровления; это препятствие сильнее, чем нам уже известная нарцисстическая недоступность, негативная установка по отношению к врачу или нежелание расстаться с болезнью. В конце концов мы приходим к убеждению, что корень надо искать, так сказать, в «моральном» факторе – в чувстве вины, которое находит удовлетворение в болезни и не хочет отрешиться от наказания в виде страданий. На этом малоутешительном объяснении можно окончательно остановиться. Но это чувство вины у больного молчит, оно не говорит ему, что он виновен. Вместо этого пациент чувствует себя не виновным, а больным. Это чувство вины проявляется лишь в виде трудноредуцируемого сопротивления собственному исцелению. Кроме того, особенно трудно убедить больного, что это и есть мотив, почему его болезнь продолжается; он будет держаться более понятного объяснения – что психоанализ не то средство, которое могло бы ему помочь.

* * *

Описанное здесь соответствует наиболее крайним случаям, но может в меньшем масштабе быть принято во внимание для очень многих, возможно, для всех более тяжких случаев невроза. Более того: может быть, именно этот фактор – поведение «Идеала Я» – решающим образом определяет степень невротического заболевания. Поэтому мы не уклонимся от некоторых дальнейших замечаний о проявлении чувства вины при различных условиях.

Нормальное, осознанное чувство вины (совесть) не представляет для толкования никаких затруднений; оно основано на напряжении между «Я» и «Идеалом Я» и является выражением осуждения «Я» со стороны его критической инстанции. Знакомые чувства неполноценности у невротика недалеки от этого. В двух хорошо знакомых нам аффектах чувство вины чрезвычайно сильно осознано; «Идеал Я» проявляет тогда особую строгость и часто жестоко буйствует против «Я». Наряду с этим совпадением при обоих состояниях – при неврозе принуждения и меланхолии – в поведении «Идеала Я» имеются различия, которые не менее значительны.

При неврозе принуждения (известных его формах) чувство вины дает о себе знать крайне назойливо, но перед «Я» оно оправдаться не может. Поэтому «Я» больного сопротивляется тому, что ему приписывается виновность, и требует от врача подтверждения, что он вправе ее отклонить. Было бы неблагоразумно уступить ему, так как это не повело бы к успеху. Дальнейший анализ показывает, что на «Сверх-Я» влияют процессы, оставшиеся «Я» неизвестными. И действительно, можно найти вытесненные импульсы, обосновывающие чувство вины. Здесь «Сверх-Я» знало больше о бессознательном «Оно», чем знало «Я».

Еще более сильное впечатление того, что «Сверх-Я» присвоило себе сознание, создается в случае меланхолии. Но тут «Я» не отваживается на возражения – оно признает себя виновным и подчиняется наказаниям. Мы понимаем это различие. При неврозе принуждения дело заключалось в предосудительных побуждениях, оставшихся вне «Я»; а при меланхолии объект, на который направлен гнев «Сверх-Я», путем идентификации принят в «Я».

Отнюдь не само собой понятно, что при обоих этих невротических аффектах чувство вины достигает такой исключительной силы, но главная проблема ситуации все же находится в другом месте. Мы откладываем ее рассмотрение, пока не разберем другие случаи, в которых чувство вины остается бессознательным.

Ведь это, в основном, можно найти при истерии и состояниях истерического типа. Здесь легко угадать механизм продолжающейся бессознательности. Истерическое «Я» защищается против мучительного восприятия, грозящего ему вследствие критики его «Сверх-Я», тем же путем, каким оно обычно привыкло защищаться от невыносимой для него

загрузки объектом, – т. е. путем акта вытеснения. Зависит, следовательно, от «Я», если чувство вины остается бессознательным. Мы знаем, что обычно «Я» приступает к вытеснениям по заданию и поручению своего «Сверх-Я», но здесь мы имеем случай, когда «Я» против своего грозного господина пользуется тем же оружием. При неврозе принуждения, как известно, преобладают феномены образования реакций; здесь «Я» удается только держать вдали тот материал, на котором основано чувство вины.

* * *

Можно пойти дальше и отважиться на предпосылку, что нормальным образом большая часть чувства вины должна быть бессознательной, так как возникновение совести тесно связано с эдиповым комплексом, который принадлежит бессознательному. Если кто-нибудь захотел бы защитить парадоксальное положение, что нормальный человек гораздо неморальнее, чем полагает, но и гораздо моральнее, чем он это осознает, то психоанализ, на данных которого основана первая половина утверждения, ничего не мог бы возразить и против второй половины положения.

Для нас было неожиданностью найти, что повышение этого бессознательного чувства вины может сделать человека преступником. Но это, несомненно, так. У многих, особенно юных преступников можно доказать наличие огромного чувства вины, которое имелось еще до преступления, являясь, следовательно, не его следствием, а его побуждением, как если бы возможность соединить это бессознательное чувство вины с чем-то реальным и актуальным ощущалась как облегчение.

Во всех этих соотношениях «Сверх-Я» доказывает свою независимость от сознательного «Я» и свою тесную связь с бессознательным «Оно». Теперь при учете значения, приписанного нами предсознательным словесным остаткам в «Я», возникает вопрос: не состоит ли «Сверх-Я», если оно бессознательное, из таких словесных представлений, или из чего же еще оно состоит? Скромный ответ будет гласить, что «Сверх-Я» не может отрицать и своего происхождения от слышанного – ведь оно является частью «Я» и остается доступным сознанию со стороны этих словесных представлений (понятий, абстракций), но энергия загрузки доставляется этому содержанию «Сверх-Я» не из слуховых восприятий, обучения и чтения, а из источников в «Оно».

Вопрос, ответ на который мы отложили, гласит: как это происходит, что «Сверх-Я», в основном, проявляет себя как чувство вины (лучше – как критика: чувство вины есть соответствующее этой критике восприятие в «Я») и при этом развивает по отношению к «Я» такую исключительную жестокость и строгость? Если мы обратимся сначала к меланхолии, то найдем, что могучее «Сверх-Я», захватившее сознание, неистовствует против «Я» с такой беспощадной яростью, как будто бы присвоив себе весь имеющийся в индивиде садизм. Согласно нашему пониманию садизма, мы сказали бы, что в «Сверх-Я» отложился разрушительный компонент, обратившийся против «Я». То, что теперь господствует в «Сверх-Я», является как бы чистой культурой инстинкта смерти, и действительно, ему довольно часто удается довести «Я» до смерти, если только оно до того не защитится от своего тирана обращением в манию.

Сходно болезненны и мучительны укоры совести при определенных формах невроза принуждения, но ситуация здесь менее ясна. Следует особо отметить, что в противоположность меланхолии больной неврозом принуждения, собственно говоря, никогда не прибегает к самоубийству: у него иммунитет против этой опасности, он гораздо лучше от нее защищен, чем истерик. Мы понимаем, что сохранение объекта обеспечивает безопасность «Я». При неврозе принуждения вследствие регресса к прегенитальной организации стало возможным превращение любовных импульсов в агрессивные импульсы, направленные против объекта. Тут опять освободился разрушительный инстинкт и хочет уничтожить объект, или, по крайней мере, кажется, что такое намерение существует. «Я» этих тенденций не принял – оно противится им путем выработки реакций и мер

предосторожности; они остаются в «Оно». Но «Сверх-Я» проявляет себя так, как будто за них ответственно «Я»; и одновременно доказывает тою серьезностью, с какой «Сверх-Я» преследует эти цели уничтожения, что здесь речь идет не о вызванной регрессии видимости, а о подлинной замене любви ненавистью. Беззащитное с обеих сторон «Я» тщетно обороняется от наглых требований убийственного «Оно», а также от укоров карающей совести. Ему удается подавить только самые грубые действия обоих, и результатом является, прежде всего, бесконечное терзание самого себя и дальнейшее систематическое терзание объекта, где таковой доступен.

* * *

Опасные инстинкты смерти лечат в индивиде различным образом; частично обезвреженные смешением с эротическими компонентами, частично в виде агрессии отвлеченные наружу, они, конечно, большею частью беспрепятственно продолжают свою внутреннюю работу. Но как же получается, что при меланхолии «Сверх-Я» может сделаться своего рода местом скопления инстинктов смерти?

С точки зрения обуздания первичных позывов – морали – можно сказать: «Оно» совершенно аморально, «Я» старается быть моральным, «Сверх-Я» может стать гиперморальным и тогда столь жестоким, каким может только быть «Оно». Примечательно, что чем больше человек ограничивает свою агрессию вовне, тем строже, т. е. агрессивнее он становится в своем «Идеале Я». Для обычного наблюдения это кажется обратным – оно видит в требованиях «Идеала Я» мотив для подавления агрессии. Но факт остается таким, как мы его формулировали: чем больше человек овладевает своей агрессией, тем больше возрастаёт склонность его идеала к агрессии против его «Я». Это – как бы смешение, поворот против собственного «Я». Уже обычная, нормальная мораль имеет характер чего-то жестко ограниченного, жестко воспрещающего. Отсюда ведь проистекает понятие неумолимо карающего высшего существа.

Я не могу продолжить дальнейшее объяснение этих соотношений, не вводя нового предположения. Ведь «Сверх-Я» возникло из идентификации с образом отца. Каждая такая идентификация носит характер десексуализации или даже сублимации. И теперь кажется, что при таком превращении происходит и распад первичных позывов на первоначальные. После сублимации у эротического компонента уже нет сил связать все дополнительное разрушение, и он освобождается в виде склонности к агрессии и разрушению. Из этого распада идеал получил бы суровую, жестокую черту настоятельного долженствования.

Остановимся еще раз коротко на неврозе принуждения. Здесь соотношения иные. Распад любви в агрессию произошел не путем работы «Я», а есть следствие регресса, состоявшегося в «Оно». Но этот процесс перешел с «Оно» на «Сверх-Я», которое теперь обостряет свою строгость к безвинному «Я». Но в обоих случаях «Я», преодолевшее либидо идентификаций, переживает за это кару «Сверх-Я» в виде агрессии, примешанной к либидо.

Наши представления о «Я» становятся более ясными, его различные соотношения приобретают четкость. Мы видим теперь «Я» в его силе и в его слабости. Ему доверены важные функции: в силу его отношения к системе восприятий оно устанавливает последовательность психических процессов и подвергает их проверке на реальность. Путем включения мыслительных процессов оно достигает задержки моторных разрядок и владеет доступами к подвижности. Овладение последним, правда, больше формальное, чем фактическое – по отношению к действию «Я» занимает, примерно, позицию конституционного монарха, без санкции которого ничто не может стать законом, но который все же сильно поразмыслит, прежде чем наложить свое вето на предложение парламента. «Я» обогащается при всяком жизненном опыте извне; но «Оно» является его другим внешним миром, который «Я» стремится себе подчинить. «Я» отнимает у «Оно» либидо, превращает объектные загрузки «Оно» в образования «Я». С помощью «Сверх-Я» «Я» неясным еще для нас образом черпает из накопившегося в «Оно» опыта древности.

Есть два пути, по которым содержание «Оно» может проникнуть в «Я». Один путь – прямой, другой ведет через «Идеал Я»; для многих психических деятельности может стать решающим, какому из обоих путей они следуют. «Я» развивается от восприятия первичных позывов к овладению ими, от повиновения первичным позывам к торможению их. «Идеал Я», частично ведь представляющий собой образование реакций против процессов первичных позывов «Оно», активно участвует в этой работе. Психоанализ является тем орудием, которое должно дать «Я» возможность постепенно овладеть «Оно».

Но с другой стороны мы видим это же «Я» как несчастное существо, исполняющее три рода службы и вследствие этого страдающее от угроз со стороны трех опасностей: внешнего мира, либидо «Оно» и суперости «Сверх-Я». Три рода страха соответствуют этим трем опасностям, так как страх выражает отступление перед опасностью. В качестве пограничного существа «Я» хочет быть посредником между миром и «Оно», хочет сделать «Оно» уступчивым в отношении мира, а своей мускульной деятельностью сделать так, чтобы мир удовлетворял желаниям «Оно». «Я» ведет себя, собственно говоря, так, как врач во время аналитического лечения: принимая во внимание реальный мир, «Я» предлагает «Оно» в качестве объекта либидо – самое себя, а его либидо хочет направить на себя. Оно не только помощник «Оно», но и его покорный слуга, добивающийся любви своего господина. Где только возможно, «Я» старается остаться в добром согласии с «Оно» и покрывает его бессознательное поведение своими рационализациями; изображает видимость повиновения «Оно» по отношению к предостережениям реальности и в том случае, когда «Оно» осталось жестким и неподатливым; затушевывает конфликты между «Оно» и реальностью и, где возможно, и конфликты со «Сверх-Я». Вследствие своего серединного положения между «Оно» и реальностью «Я» слишком часто поддается искушению стать угодливым, оппортунистичным и лживым, примерно как государственный деятель, который при прекрасном понимании всего все же хочет остаться в милости у общественного мнения.

«Я» не держит себя беспристрастно в отношении обоих видов первичных позывов. Своей работой идентификации и сублимации оно помогает инстинктам смерти в «Оно» для преодоления либидо, но при этом само попадает в опасность стать объектом инстинкта смерти и погибнуть. В целях оказания помощи «Я» само должно было наполниться либидо, этим самым становясь представителем Эроса и исполняясь теперь желанием жить и быть любимым.

Но так как его работа сублимации имеет следствием распад первичных позывов на первоначальные и освобождение агрессивных первичных позывов в «Сверх-Я», то своей борьбой против либидо оно подвергает себя опасности стать жертвой жестокостей и смерти. Если «Я» страдает от агрессии «Сверх-Я» или даже погибает, то его судьба подобна судьбе одноклеточных, погибающих от продуктов разложения, которые они сами создали. Действующая в «Сверх-Я» мораль кажется нам в экономическом смысле таким продуктом разложения.

* * *

Из зависимостей «Я» самой интересной, пожалуй, является зависимость от «Сверх-Я».

Ведь «Я» и представляет собой подлинный очаг боязни. Ввиду угрозы трех опасностей «Я» развивает рефлекс бегства, причем свою собственную загрузку оно отводит от опасного восприятия или такого же опасного процесса в «Оно», выдавая это за страх. Эта примитивная реакция позднее сменяется возведением защитных загрузок (механизм фобий). Нельзя указать, чего именно «Я» опасается со стороны внешней опасности или со стороны опасности либидо в «Оно»; мы знаем, что это – преодоление или уничтожение, но аналитической формулировке это не подвергается. «Я» просто следует предостережению принципа наслаждения. Можно, однако, сказать, что скрывается за страхом «Я» перед «Сверх-Я», перед страхом совести. Высшее существо, ставшее «Идеалом Я», когда-то угрожало кастрацией, и эта кастрация, вероятно, является тем ядром, вокруг которого

откладывается страх совести; кастрация именно то, что продолжает себя как страх совести.

Звонкая фраза, что каждый страх является, собственно говоря, страхом смерти, едва ли заключает в себе какой-нибудь смысл; во всяком случае, она не оправдываема. Мне, наоборот, кажется безусловно правильным отделить страх смерти от страха объекта (реальности) и от невротического страха либидо. Для психоанализа это очень трудная проблема, так как смерть есть абстрактное понятие негативного содержания, для которого бессознательного соответствия не найти. Механизм страха смерти может состоять только в том, что «Я» в значительной степени освобождается от своей нарцисстической загрузки либидо, т. е. отказывается от самого себя точно так, как обычно в случае страха отказывается от другого объекта. Мне думается, что страх смерти развертывается между «Я» и «Сверх-Я».

Нам знакомо появление страха смерти при двух условиях, вполне, впрочем, аналогичных условиям обычного развития страха: как реакции на внешнюю опасность и как внутреннего процесса, как, например, при меланхолии. Невротический случай снова может помочь нам понять случай реальный.

Страх смерти при меланхолии допускает лишь одно объяснение, а именно – что «Я» отказывается от самого себя, так как чувствует, что «Сверх-Я» его ненавидит и преследует вместо того, чтобы любить. Следовательно, для «Я» жизнь означает то же, что быть любимым, быть любимым со стороны «Сверх-Я», которое и здесь проявляет себя представителем «Оно». «Сверх-Я» выполняет туже защитную и спасающую функцию, как раньше отец, позднее – провидение или судьба. Но тот же вывод должно сделать и «Я», находясь в огромной реальной опасности, преодолеть которую собственными силами оно считает невозможным. «Я» видит, что оно покинуто всеми охраняющими силами и позволяет себе умереть. Это, впрочем, та же ситуация, что стала подосновой первого великого страха рождения и инфантильной тоски страха, – страха разлуки с оберегающей матерью.

На основе вышеизложенного страх смерти, как и страх совести, может, следовательно, быть истолкован как переработка страха кастрации. Ввиду большого значения чувства вины для неврозов нельзя также отрицать, что обычный невротический страх в тяжелых случаях усиливается развитием страха между «Я» и «Сверх-Я» (страха кастрации, страха совести, страха смерти).

«Оно», к которому мы в заключение возвращаемся, не обладает средствами доказать «Я» любовь или ненависть. Оно не может выразить, чего хочет; оно не выработало единой воли.

В нем борются Эрос и инстинкт смерти; мы слышали, какими средствами одни первичные позывы оброняются против других. Мы могли бы изобразить это таким образом, будто «Я» находится под властью немых, но мощных инстинктов смерти, которые стремятся к покою и по указаниям принципа наслаждения хотят заставить замолчать нарушителя этого спокойствия – Эроса; но мы опасаемся, что при этом мы все же недооцениваем роль Эроса.

«Негативы» и «позитивы» сознания

В заключение я хотел бы в нескольких словах и по возможности яснее определить, какой смысл придается слову «бессознательный» в психоанализе, и только в одном психоанализе.

Какое-нибудь представление – или всякий другой психический элемент – может в настоящую минуту присутствовать в моем сознании, а в следующую исчезнуть из него; по истечении определенного промежутка времени оно может снова возникнуть, как мы говорим, благодаря воспоминанию, а не вследствие нового восприятия. Считаясь с этим фактом, мы должны предполагать, что и в течение всего промежуточного периода времени представление это оставалось в нашей душе, хотя оно и было в латентном состоянии сознания.

Но у нас не может возникнуть никаких предположений относительно того, в какой

форме оно могло бы существовать в нашей душевной жизни, оставаясь в то же время латентным в сознании. В этом вопросе мы должны быть готовы услышать возражение со стороны философов, что латентное представление существовало не как психологический объект, а только как физическое предрасположение к возобновлению того же психического явления, а именно – этого самого представления. На это мы можем ответить, что такая теория, собственно, далеко переходит границы психологии, что она просто обходит проблему, придерживаясь взгляда, что «сознательное» и «психическое» – тождественные понятия, и что эта теория, очевидно, неправа, отрицая за психологией право объяснить своими собственными средствами такое обычное явление в ее области как память.

Мы хотим назвать «сознательным» представление, присутствующее в нашем сознании и воспринимаемое нами, и только в этом смысле понимать выражение «сознательное»; в противоположность этому должны быть обозначены термином «бессознательные» латентные представления, когда у нас есть основание предполагать, что они существуют в душевной жизни, как, например, в памяти.

Бессознательным представлением, следовательно, будет такое, которое мы не замечаем, но существование которого мы все-таки готовы допустить на основании других признаков и доказательств.

В этом можно было бы видеть совершенно неинтересную описательную или классификаторскую работу, если бы у нас не было других данных для суждения, кроме факта памяти или ассоциаций через посредство бессознательных их звеньев. Но общеизвестный опыт послегипнотического внушения учит нас тому, как важно отличать «сознательное» от «бессознательного» и насколько существенно такое различие.



Возбужденные люди. Художник Эмиль Нольде

При этом эксперименте, как его производил Бернхейм, испытуемого приводят в гипнотическое состояние, а затем будят. В то время как этот человек находится под влиянием врача в гипнотическом состоянии, врач ему внушает совершить какой-нибудь поступок в точно определенный срок, например, через полчаса. По пробуждении кажется, что гипнотизированный снова пришел в полное и обычное состояние сознания – у него нет воспоминания о гипнотическом состоянии; несмотря на это, в определенный момент в нем вдруг возникает импульс к тому, чтобы совершить то или другое действие – что он и совершает в полном сознании, хотя сам не знает почему. Едва ли можно описать это явление иначе, чем такими словами: намерение это существовало у данного лица в латентной форме или бессознательно, до наступления ранее внущенного момента, – когда оно было осознано. Однако это намерение возникло в сознании не со всеми подробностями, а в виде представления о действии, которое предстоит выполнить. Все другое – идеи, ассоциативно связанные с этим представлением: внушение, психическое воздействие врача, воспоминание о гипнотическом состоянии – так и остается при этом неосознанным.

* * *

Данный опыт может научить нас еще большему. От чисто описательного он приводит

нас к динамическому пониманию явления. Идея внущенного в гипнозе действия в определенную минуту не только стала объектом сознания, но она сделалась также действенной, а это и есть самая замечательная сторона такого факта: она перешла в действие, как только возникла в сознании. Так как настоящим побуждением к действию является внушение врача, то нет возможности допустить что-либо иное, как только то, что внущенная идея стала действенной.

Однако сама эта идея не проникла в сознание, так как это произошло с ее дериватом – идеей действия; она осталась бессознательной и оказалась одновременно и действенной, и бессознательной.

Послегипнотическое внушение представляет собой продукт лаборатории, искусственно созданное явление. Но если мы примем теорию истерических явлений, предложенную впервые П. Жане и разработанную Брейером и мною, то в нашем распоряжении окажется множество фактов, отличающихся психологическими признаками послегипнотического внушения в еще более ясной и очевидной форме.

Душевная жизнь истеричного больного полна действенных, но бессознательных мыслей: от них происходят все симптомы. Действительно, самую замечательную особенность истерического состояния психики составляет то, что она находится во власти бессознательных представлений. Если у истерической женщины наблюдается рвота, то это может произойти под влиянием мысли о беременности. И, тем не менее, такая женщина ничего не знает об этой идее, хотя посредством одного из технических приемов психоанализа мысль эта легко может быть открыта в ее душевной жизни и сделана доступной ее сознанию. Если она проделывает все судороги и жесты, составляющие «припадок», то она вовсе не представляет себе в своем сознании тех действий, которые она намеревается выполнить, и наблюдает их, быть может, с чувством безучастного зрителя. Тем не менее, анализ может доказать, что она разыгрывает свою роль, воспроизводя в драматической форме сцену из своей жизни, воспоминание о которой было бессознательно, но действенно во время припадка. То же преобладание действенных бессознательных идей открывается психоанализом как сущность психологии всех других форм невроза.

Итак, из анализа невротических явлений мы узнаем, что латентная, или бессознательная, мысль не должна быть непременно слабой; далее, присутствие такой мысли в душевной жизни может быть доказано не прямым путем, но почти так же убедительно, как если бы это прямо доказывалось нашим сознанием. Мы считаем себя вправе привести нашу классификацию в соответствие с расширением наших знаний, основываясь на различии между этими двумя видами латентных и бессознательных мыслей. Мы привыкли думать, что всякая латентная мысль была такою вследствие своей слабости и становилась сознательной, как только приобретала силу. Теперь же мы убедились, что существуют такие латентные мысли, которые не проникают в сознание, как бы сильны они ни были. Поэтому мы считаем уместным назвать латентные мысли первой группы предсознательными, сохраняя выражение «бессознательные» (в настоящем смысле слова) для второй группы, наблюданной нами при неврозах. Выражение «бессознательный», употребляемое нами до сих пор только в описательном смысле, получает теперь более расширенное значение. Оно обозначает теперь не только латентные мысли, а особенные, отличающиеся определенным динамическим признаком, а именно такие, которые остаются вдали от сознания, несмотря на свою интенсивность и действенность.

* * *

Прежде чем продолжать свое изложение, я хочу коснуться двух возражений, которые считаю весьма вероятными в этом пункте. Первое может быть сформулировано следующим образом: вместо того чтобы допустить гипотезу о бессознательных мыслях, о которых мы ничего не знаем, не лучше ли нам предположить, что сознание может быть разделено, так что отдельные мысли или другие душевые процессы могут образовать особое сознание,

отделенное от главного ядра сознательной психической деятельности и чуждое ей. Общеизвестные патологические случаи, как, например, случай, описанный доктором Азамом, очень убедительно доказывают, что идея разделения сознания не является пустой фантазией.

Я позволю себе упрекнуть эту теорию в том, что она базируется на злоупотреблении словом «сознательный». Мы не имеем права так расширить смысл слова «сознательный», чтобы обозначать им и такое сознание, о котором обладатель его ничего не знает. Если философы видят затруднение в том, чтобы допустить существование бессознательной мысли, то существование бессознательного сознания кажется мне еще более спорным. Случай, приводимые как пример разделения сознания, вроде случая доктора Азама, могли бы скорее рассматриваться как передвижение сознания, состоящее в том, что эта функция – или что-то в этом роде – колеблется между двумя психическими комплексами, которые становятся поочередно сознательными и бессознательными.

Второе предполагаемое мною возражение может заключаться в том, что мы применяем к психологии нормальных людей те следствия, к которым привело нас изучение патологических состояний. На это мы можем возразить указанием на факт, ставший известным для нас благодаря психоанализу. Известные нарушения функций, случающиеся очень часто у здоровых людей, например, *Lapsus linguae*, ошибки памяти и речи, забывание имен и т. д., могут быть легко объяснены влиянием сильных бессознательных мыслей точно так, как невротические симптомы. А в дальнейшем изложении мы еще встретимся со вторым, более убедительным доказательством.

Придерживаясь разделения на пред сознательные и бессознательные мысли, мы можем оставить область классификаций и составить себе определенное представление о функциональном и динамическом отношениях в душевной деятельности. Мы нашли действенное предсознательное, которое переходит без всяких затруднений в сознание, и действенное бессознательное, остающееся бессознательным, как бы отрезанным от сознания.

Мы не знаем, идентичны ли эти два вида психической деятельности с самого начала или же они по существу своему противоположны; но мы можем поставить вопрос, почему они становятся различными в течение того времени, когда протекают психические процессы. На этот вопрос психоанализ немедленно дает нам ясный ответ. Продукты действенного бессознательного никоим образом не могут проникнуть в сознание, и для того, чтобы они смогли это сделать, необходимо известное усилие. Если мы пробуем сделать это на самих себе, то получаем ясное чувство отпора, который нужно преодолеть, а когда мы вызываем у наших больных такое стремление продуктов бессознательного проникнуть в сознание, то получаем вполне ясные признаки того, что называется сопротивлением.

Таким образом, мы узнаем, что бессознательная мысль исключается из сознания живыми силами, сопротивляющимися тому, чтобы она проникла туда, между тем как другим мыслям, предсознательным, эти силы не стоят на пути. Психоанализ не оставляет места никакому сомнению в том, что это недопущение бессознательных мыслей в сознание обусловлено исключительно заключающимися в содержании их тенденциями. Самая естественная и вероятная теория, которую мы при настоящем состоянии наших знаний можем построить, такова: бессознательное составляет регулярную неизбежную fazу в процессах, лежащих в основе нашей психической деятельности; каждый психический акт начинается как бессознательный и может таким и остаться или же, развиваясь дальше, проникнуть в сознание в зависимости от того, наталкивается он на сопротивление или нет. Различие между предсознательной и бессознательной деятельностью не первичное, а образуется лишь после того, как начинает свою деятельность «отпор». Только тогда получает теоретическое и практическое значение различие между предсознательными мыслями, которые появляются в сознании и каждую минуту могут туда вернуться, и бессознательными мыслями, для которых это остается недоступным. Грубую, но довольно подходящую аналогию этого предполагаемого отношения сознательной деятельности к бессознательному представляет область обыкновенной фотографии. Первой стадией

фотографии является негатив; каждый портрет должен непременно проделать этот «негативный процесс», и некоторые из этих негативов, выдержавшие испытание, допускаются до «позитивного» процесса, кончающегося портретом.

Но различие предсознательной и бессознательной деятельности и познание разделяющей их грани вовсе не есть еще последний и самый значительный результат психоаналитического исследования душевной жизни. Существует психический продукт, который встречается у самых нормальных людей и, тем не менее, представляет собой разительную аналогию с самыми дикими продуктами бреда безумия, и был для философов так же непонятен, как и само безумие. Я подразумеваю сновидения. Психоанализ основывается на анализе сновидений; толкование сновидений является самой совершенной работой, сделанной до настоящего времени этой молодой наукой. Типичный случай образования сновидения может быть описан следующим образом: душевная деятельность в течение дня вызвала ход мыслей, сохранивших известную способность действия, благодаря чему на них не распространяется то общее понижение интереса, которое вызывает сон и составляет психическую подготовку к нему. В течение ночи этому ходу мыслей удается найти связь с каким-либо одним из бессознательных желаний, которые уже с самого детства всегда существовали в нашей душевной жизни, но обычно были вытеснены и исключены из сознания. Эти мысли, эти остатки дневной работы психики, усилившись благодаря такой бессознательной поддержке, становятся опять действенными и всплывают в сознание в виде сна.

* * *

Таким образом, все сводится к троекратному роду процессам:

1. Мысли претерпели те превращения, искажения и замаскирования, посредством которых проявляется участие бессознательного в образовании сновидений.
2. Мыслям удалось завладеть сознанием в такое время, когда оно не должно быть им доступным.
3. Частица бессознательного проникла в сознание, что ей при обычных условиях не удалось бы.

Мы научились искусству находить «остаточные впечатления дня» (*Tagessreste*) и «скрытые мысли сновидения»; сравнивая их с «явным содержанием сновидения», мы получаем возможность составить себе представление о всех изменениях, которые с ними произошли, и выяснить те способы, посредством которых это произошло.

Латентные мысли сновидения, таким образом, не отличаются ничем от нашей обычной сознательной душевной деятельности. Они заслуживают названия пред сознательных мыслей и, действительно, в известные моменты в состоянии бодрствования они могут быть осознаны. Но благодаря связи с бессознательными стремлениями, возникшими в течение ночи, они ассилировались с последними и низведены в известном смысле до состояния бессознательных мыслей, а потому подвержены законам, управляющим бессознательной деятельностью. Здесь мы имеем случай узнать то, до чего никогда не могли дойти путем теоретических соображений или из какого-нибудь другого источника эмпирических знаний, а именно: законы бессознательной душевной деятельности в очень многих отношениях отличаются от законов, которым подчинена деятельность сознания. Углубляясь в подробности, мы приобретаем знание особенностей бессознательного и можем надеяться, что основательное исследование процессов образования сновидений откроет нам еще больше.

Это исследование едва ли наполовину уже закончено, и невозможно изложить достигнутые до настоящего времени результаты, не углубляясь в чрезвычайно сложные проблемы толкования сновидений. Но я не хотел окончить свое изложение, не указав на те изменения и успехи в нашем понимании бессознательного, которым мы обязаны психоаналитическому изучению сновидений.

Бессознательное казалось нам сначала только загадочной особенностью известного психического процесса; теперь оно имеет для нас большее значение, являясь признаком того, что данный процесс принимает участие в природе определенной психической категории, знакомой нам по другим, еще более значительным характерным особенностям, и что он принадлежит системе психической деятельности, заслуживающей нашего самого серьезного внимания. Ценность бессознательного как показателя особой системы психики гораздо большая, чем его значение как качественной категории. Всей системе, которая дает нам о себе знать благодаря тому своему отличительному признаку, вследствие которого отдельные процессы, ее составляющие, бессознательны, мы даем имя «бессознательное» – за недостатком другого лучшего, менее двусмысленного выражения. Я предлагаю обозначать эту систему буквами *Ubw*, представляющими собой сокращение слова «*Unbewusst*».

Это и есть третье – и самое важное значение, которое приобрело в психоанализе название «бессознательное».

К. Г. Юнг. Что скрывают желания²

Мое знакомство с Фрейдом

...Я очень долго работал, прежде чем смог набрать необходимый багаж. В работе с интеллектуально развитыми и образованными пациентами психиатру мало одних профессиональных знаний. Кроме всякого рода теоретических положений, он должен выяснить, чем на самом деле руководствуется пациент, иначе преодолеть его внутреннее сопротивление невозможно.

В конце концов, главное не в том, подтвердилась ли та или иная теория, а в том, что представляет собой больной, каков его внутренний мир. Последнее не поддается пониманию без знания привычной для него среды со всеми ее установлениями и предрассудками. Одной лишь медицинской подготовки недостаточно еще и потому, что пространство человеческого сознания безгранично и вмещает оно гораздо больше, нежели кабинет психиатра.

Человеческая душа, безусловно, более сложна и менее доступна для исследования, нежели человеческое тело. Она, скажем так, начинает существовать в тот момент, когда мы начинаем осознавать ее. Поэтому здесь сталкиваешься с проблемой не только индивидуального, но и общечеловеческого порядка, и психиатру приходится иметь дело со всем многообразием мира. Сегодня, как никогда прежде, становится очевидным, что опасность, всем нам угрожающая, исходит не от природы, а от человека, она коренится в психологии личности и психологии массы. Психическое расстройство представляет собой грозную опасность. От того, правильно или нет функционирует наше сознание, зависит все. Если определенные люди сегодня потеряют голову, завтра будет взорвана водородная бомба!.. Мне часто приходилось видеть, как люди становились невротиками, оттого что довольствовались неполными или неправильными ответами на те вопросы, которые ставила им жизнь. Они искали успеха, положения, удачного брака, славы, а оставались несчастными и мучились от неврозов, даже достигнув всего, к чему так стремились. Этим людям не хватает духовности, жизнь их обычно бедна содержанием и лишена смысла. Как только они находят путь к духовному развитию и самовыражению, невроз, как правило, исчезает. Поэтому я всегда придавал столько значения самой идее развития личности.

...Среди так называемых невротиков есть много людей, которые, если бы родились раньше, не были бы невротиками, то есть не ощущали бы внутреннюю раздвоенность. Жили они тогда, когда человек был связан с природой и миром своих предков посредством мифа,

² Из произведений К. Г. Юнга «Воспоминания, сновидения, размышления», «Об архетипах коллективного бессознательного», «Шизофрения».

когда природа являлась для него источником духовного опыта, а не только окружающей средой, у этих людей не было бы внутренних разладов. Я говорю о тех, для кого утрата мифа явились тяжелым испытанием и кто не может обрести свой путь в этом мире, довольствуясь естественнонаучными представлениями о нем, причудливыми словесными спекуляциями, не имеющими ничего общего с мудростью.

Наши страдающие от внутренних разладов современники – только лишь «ситуативные невротики», их болезненное состояние исчезает, как только исчезает пропасть между его и бессознательным. Кто сам ощущал внутреннюю раздвоенность и побывал в подобном положении, сможет лучше понять бессознательные процессы психики и будет застрахован от опасности преувеличивать размеры невроза, чем часто грешат психологи. Кто на собственном опыте не испытал нуменозное действие архетипов, вряд ли сможет избежать путаницы, когда столкнется с этим на практике. И переоценки, и недооценки этого приведут к одному: его критерии будут иметь исключительно рациональный, а не эмпирический характер. Именно отсюда берут начало губительные заблуждения (и этим страдают не только врачи), первое из них – предпочтение рационального пути остальным. За такого рода попытками прячется тайная цель – по возможности отгородиться от собственного подсознания, от архетипических состояний, от реального психологического опыта и заменить его с виду надежной, но искусственной и ограниченной, двухмерной идеологической действительностью, где настоящая жизнь со всеми ее сложностями заслонена так называемыми «отчетливыми понятиями» – идеологемами. Таким образом, значение приобретает не реальный опыт, а пустые имена, которые замещают его. Это ни к чему не обязывает и весьма удобно, поскольку защищает нас от испытания опытом и осознания последнего. Но ведь дух обитает не в концепциях, а в поступках и реальных вещах. Слова никого не согревают, тем не менее эту бесплодную процедуру повторяют бесконечно.

Подводя итог, скажу, что самыми трудными, как и самыми неблагодарными для меня пациентами (за исключением «патологических фантазеров»), являются так называемые интеллектуалы. У них, как правило, правая рука не знает, что делает левая. Они исповедуют своего рода *psychologie a compartiments*, не позволяя себе ни единого чувства, не контролируемого интеллектом, то есть пытаются все уладить и причесать, но в результате больше, чем остальные, подвержены разнообразным неврозам.

* * *

С работами Брейера и Фрейда я познакомился уже в самом начале моей психиатрической деятельности, и наряду с работами Пьера Жане они оказались для меня чрезвычайно полезными...

«Толкование сновидений» Фрейда я прочел еще в 1900 году. Тогда я отложил книгу в сторону, поскольку не понял ее. Мне было 25 лет, и мне еще не хватало опыта, чтобы оценить значение теории Фрейда. Это случилось позже. В 1903 году я снова взялся за «Толкование сновидений» и осознал, насколько идеи Фрейда близки моим собственным. Главным образом меня заинтересовал так называемый «механизм вытеснения», заимствованный Фрейдом из психологии неврозов и используемый им в толковании сновидений. Всю важность его я оценил сразу. Ведь в своих ассоциативных тестах я часто встречался с реакциями подобного рода: пациент не мог найти ответ на то или иное стимулирующее слово или медлил более обычного. Затем было установлено, что такие аномалии имеют место всякий раз, когда стимулирующие слова затрагивают некие болезненные или конфликтные психические зоны. Пациенты, как правило, не осознавали этого и на мой вопрос о причине затруднений обычно давали весьма странные, а то и неестественные ответы. Из «Толкования сновидений» я выяснил, что здесь срабатывает механизм вытеснения и что наблюдаемые мной явления вполне согласуются с теорией Фрейда. Таким образом, я как бы подкреплял фрейдовскую аргументацию.

Иначе было с тем, что же именно «вытеснялось», здесь я не соглашался с Фрейдом. Он видел причины вытеснения только в сексуальных травмах. Однако в моей практике я нередко наблюдал неврозы, в которых вопросы секса играли далеко не главную роль, а на передний план выдвигались совсем другие факторы: трудности социальной адаптации, угнетенность из-за трагических обстоятельств, понятия престижа и т. д. Впоследствии я не раз приводил Фрейду в пример подобные случаи, но он предпочитал не замечать никаких иных причин, кроме сексуальных. Я же был в корне не согласен с этим...

Более всего меня настораживало отношение Фрейда к духовным проблемам. Там, где находила свое выражение духовность – будь то человек или произведение искусства, – Фрейд видел подавленную сексуальность. А для того, что нельзя было объяснить собственно сексуальностью, он придумал термин «психосексуальность». Я пытался возражать ему, что если эту гипотезу довести до логического конца, то вся человеческая культура окажется не более чем фарсом, патологическим результатом подавленной сексуальности. «Да, – соглашался он, – именно так, это какое-то роковое проклятие, против которого мы бессильны».

…Несомненно, Фрейд необычайно близко к сердцу принимал все, что касалось его сексуальной теории. Когда речь заходила о ней, тон его, обычно довольно скептический, становился вдруг нервным и жестким, а на лице появлялось странное, взволнованное выражение. Я поначалу не мог понять, в чем же причина этого. Но у меня возникло предположение, что сексуальность для него была своего рода *numinosura*. Это впечатление подтвердилось позже при нашей встрече в Вене спустя три года (в 1910 году).

Я до сих пор помню, как Фрейд сказал мне: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне, что вы никогда не откажетесь от сексуальной теории. Это превыше всего. Понимаете, мы должны сделать из нее догму, неприступный бастион». Он произнес это со страстью, тоном отца, наставляющего сына: «Мой дорогой сын, ты должен пообещать мне, что будешь каждое воскресенье ходить в церковь».

Скрывая удивление, я спросил его: «Бастион – против кого?» – «Против потока черной грязи, – на мгновение Фрейд запнулся и добавил, – оккультизма». Я был не на шутку встревожен – эти слова «бастион» и «догма», ведь догма – неоспоримое знание, такое, которое устанавливается раз и навсегда и не допускает сомнений. Но о какой науке тогда может идти речь, ведь это не более чем личный диктат.

И тогда мне стало понятно, что наша дружба обречена; я знал, что никогда не смогу примириться с подобными вещами. К «оккультизму» Фрейд, по-видимому, относил абсолютно все, что философия, религия и возникшая уже в наши дни парапсихология знали о человеческой душе. Для меня же и сексуальная теория была таким же «оккультизмом», то есть не более чем недоказанной гипотезой, как всякое умозрительное построение. Научная истина, в моем понимании, – это тоже гипотеза, которая соответствует сегодняшнему дню и которая не может остаться неизменной на все времена.

Наши расхождения с Фрейдом

Многое еще не было доступно моему пониманию, но я отметил у Фрейда нечто похожее на вмешательство неких подсознательных религиозных факторов. По-видимому, он пытался защититься от этой подсознательной угрозы и вербовал меня в помощники.

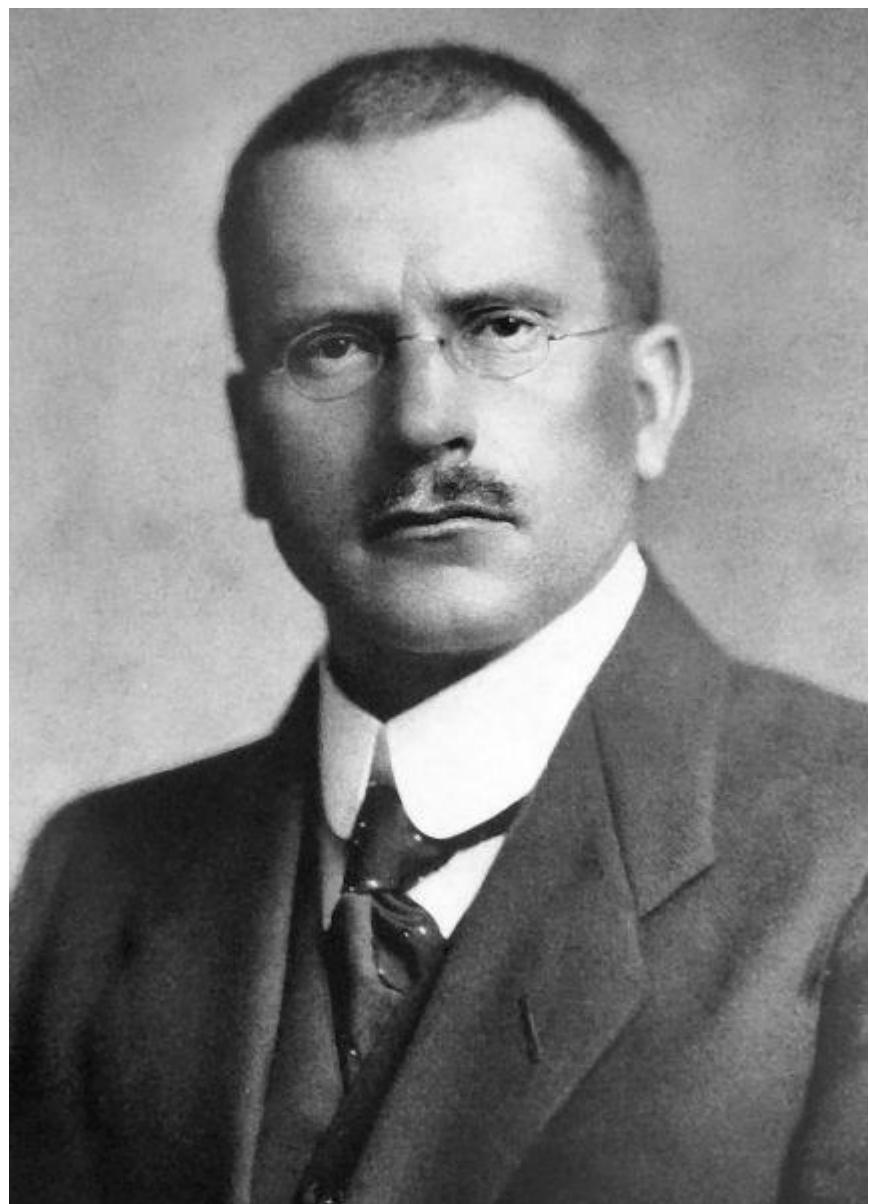
На место утраченного им грозного Бога он поставил другого кумира – сексуальность. И этот кумир оказался не менее капризным, придиличным, жестоким и безнравственным. Так же как необычайную духовную силу в страхе наделяют атрибутами «божественного» или «демонического», так и «сексуальное либидо» стало играть роль *deus absconditus*, некоего тайного Бога. Такая «замена» дала Фрейду очевидное преимущество: он получил возможность рассматривать новый нуминозный принцип как научно безупречный и свободный от груза религиозной традиции. Но в основе-то все равно лежала нуминозность – общее психологическое свойство двух противоположных и несводимых рационально

полюсов – Яхве и сексуальности. Переменилось только название, а с ним, соответственно, и точка зрения: теперь утраченного Бога следовало искать внизу, а не наверху.

Но если некая сила все же существует, то есть ли разница в том, как ее называть? Если бы психологии не существовало вовсе, а были лишь конкретные вещи, ничего не стоило бы разрушить одну из них и заменить другой. Но в реальности, то есть в психологическом опыте, остаются все те же настойчивость, робость и принуждение – ничто бесследно не исчезает. Никуда не денутся и вечные проблемы: как преодолеть страх или избавиться от совести, чувства долга, принуждения или подсознательных желаний. И раз мы не в состоянии их решить, опираясь на нечто светлое и идеальное, не следует ли обратиться к силам темным, биологическим?

Эта мысль пришла ко мне неожиданно. Но ее смысл и значение я понял гораздо позже, когда анализировал в своей памяти характер Фрейда. У него была одна отличительная черта, которая более всего меня занимала: в нем ощущалась какая-то горечь. Она поразила меня еще в первый мой приезд в Вену.

И я не находил этому объяснения, пока не увидел здесь связь с его представлением о сексуальности. Хотя для Фрейда сексуальность, безусловно, означала своего рода *numinosum*, тем не менее и в терминологии, и в самой теории он, казалось, описывал ее исключительно как биологическую функцию. И только волнение, с которым он говорил о сексуальности, показывало, насколько глубоко это его затрагивало. Суть его теории состояла в том – как мне, во всяком случае, казалось, – что сексуальность содержит в себе духовную силу или имеет тот же смысл. Но слишком конкретная терминология оказалась слишком ограниченной для этой идеи. Мне подумалось, что Фрейд на самом деле двигался в направлении, прямо противоположном собственной цели, действуя таким образом против самого себя, – а нет ничего горше, нежели сознание, что ты сам свой злайший враг. По его же словам, Фрейд постоянно испытывал ощущение, что на него вот-вот обрушится некий «поток черной грязи», – на него, который более чем кто-либо погружался в самые темные его глубины.



Карл Густав Юнг

Фрейд никогда не задавался вопросом, почему ему постоянно хочется говорить именно о сексе, почему в мыслях он все время возвращается к одному и тому же предмету. Он так и не понял, что подобная однообразность толкования означает бегство от самого себя или, может быть, от иной, возможно, мистической, стороны своего «я». Не признавая ее существования, он не мог достичь душевного равновесия. Его слепота во всем, что касалось парадоксов бессознательного и возможностей двойного толкования его содержимого, не позволяла ему осознать, что все содержимое бессознательного имеет свой верх и низ, свою внешнюю и внутреннюю стороны. И если мы говорим о внешней его стороне – а именно это делал Фрейд, – мы имеем в виду лишь половину проблемы, что вызывает нормальное в такой ситуации бессознательное противодействие.

С этой фрейдовской односторонностью ничего нельзя было поделать. Возможно, его мог бы «просветить» какой-нибудь внутренний опыт, как мне думается, и тогда его разум счел бы любой подобный опыт проявлением исключительно «сексуальности» или, на худой конец, «психосексуальности». В каком-то смысле он потерпел поражение. Фрейд представляется мне фигурой трагической. Он, вне всякого сомнения, был великим человеком и еще – трогательно беззащитным.

* * *

После встречи с Фрейдом в Вене я начал понимать концепцию власти Альфреда Адлера, которую и прежде считал заслуживающей внимания. Адлер, как всякий «сын», перенял от своего «отца» не то, что тот говорил, а то, что тот делал. Теперь же я открыл для себя проблему любви – эроса и проблему власти – власти как свинцового груза, камня на душе. Сам Фрейд, в чем он признался мне, никогда не читал Ницше. Теперь же я увидел фрейдовскую психологию в культурно-исторической последовательности как некую компенсацию ницшеанского обожествления власти. Проблема явно заключалась не в противостоянии Фрейда и Адлера, а в противостоянии Фрейда и Ницше. Поэтому я полагаю, что это не просто «семейнаяссора» психопатологов. Мое мнение таково, что эрос и влечение к власти – все равно что двойня, сыновья одного отца, производное от одной духовной силы, которая, как положительные и отрицательные электрические заряды, проявляет себя в противоположных ипостасях: одна, эрос, – как некий *patiens*, другая, жажда власти, – как *agens*, и наоборот. Эросу так же необходима власть, как власти – эрос, одна страсть влечет за собой другую. Человек находится во власти своих страстей, но вместе с тем он пытается овладеть собой.

Фрейд рассматривает человека как игрушку, которой управляют ее собственные страсти и желания, Адлер же показывает, как человек использует свою страсть для того, чтобы подчинить себе других. Беспомощность перед неумолимым роком вынудила Ницше выдумать для себя «сверхчеловека», Фрейд же, как я понимаю, настолько подчинил себя Эросу, что считал его *asre perennius*, сделал из него догму, подобно религиозному нумену. Не секрет, что «Заратустра» выдает себя за Евангелие, и Фрейд на свой лад пытался превзойти церковь и канонизировать свое учение. Он, конечно, старался избежать огласки, но подозревал во мне намерение сделаться его пророком. Его попытка была трагичной, и он сам ее обесценивал. Так всегда происходит с нуменом, и это справедливо, ибо то, что в одном случае представляется верным, в другом оказывается ложным, то, что мы мыслим как свою защиту, таит в себе вместе с тем и угрозу. Нуминозный опыт и возвышает, и унижает одновременно.

Если бы Фрейду хоть раз пришло в голову представить себе, что сексуальность несет в себе *punitosum*, что она – и Бог и дьявол в одном лице, что с точки зрения психологии это не вызывает сомнения, он не смог бы ограничиться узкими рамками биологической концепции. И Ницше, может быть, не воспарил бы в своих спекуляциях и не утратил бы почвы под ногами, держись он более твердо основных условий человеческого существования.

Всякий нуминозный опыт таит в себе угрозу для человеческой психики, он как бы раскачивает ее так, что в любую минуту эта тонкая нить может оборваться, и человек потеряет спасительное равновесие. Для одних этот опыт означает безусловное «да», для других – безусловное «нет». С Востока к нам пришло понятие нирваны. Я никогда не забываю об этом. Но маятник нашего сознания совершаet свои колебания между смыслом и бессмыслицей, а не между справедливостью и несправедливостью. Опасность нуминозных состояний таится в соблазне экстремальности, в том, что маленькую правду принимают за истину, а мелкую ошибку расценивают как фатальную. Tout passe, что было истиной вчера, сегодня может показаться заблуждением, но то, что считалось ошибочным позавчера, явится откровением завтра. Именно это является одной из тех психологических закономерностей, о которых в действительности мы еще очень мало знаем. Мы по-прежнему далеки от понимания того, что нечто не существует до тех пор, пока какое-нибудь бесконечно малое и, увы, столь краткое и преходящее; сознание не отметит его как что-то. Беседуя с Фрейдом, я узнал о его страхе: он боялся, что нуминозное «сияние» его теории может померкнуть, если его захлестнет некий «поток черной грязи». Таким образом, возникла совершенно мифологическая ситуация: борьба между светом и тьмой. Это объясняет нуминозные комплексы Фрейда и то, почему в момент опасности он обращался к чисто религиозным средствам защиты – к догме...

К величайшим достижениям Фрейда я отношу то, что он беспощадно указал миру на

всю гниль современного сознания, что, конечно же, не принесло ему популярности. Впрочем, он к этому был готов. Открывая некие подступы к бессознательному, Фрейд тем самым дал нашей цивилизации новый толчок. Называя сновидения наиболее важным источником информации о бессознательных процессах, он вернул людям и науке инструмент, утерянный, казалось, безвозвратно. Он опытным путем продемонстрировал реальность бессознательной части души, существовавшей до этого лишь как философский постулат главным образом у К. Г. Каруса и Э. фон Гартмана.

* * *

...С 1918 и по 1926 год я серьезно интересовался гностиками, которые тоже соприкоснулись с миром бессознательного, обращаясь к его сути, явно проистекавшей из природы инстинктов. Каким образом им удалось прийти к этому, сказать сложно, сохранившиеся свидетельства крайне скучны, к тому же исходят большей частью из противоположного лагеря – от отцов церкви. Сомневаюсь, чтобы у гностиков могли сложиться какие-либо психологические концепции. В своих установках они были слишком далеки от меня, чтобы можно было обнаружить какую-либо мою связь с ними. Традиция, идущая от гностиков, казалась мне прерванной, мне долгое время не удавалось навести хоть какой-нибудь мостик, соединяющий гностиков или неоплатоников с современностью. Лишь приступив к изучению алхимии, я обнаружил, что она исторически связана с гностицизмом, что именно благодаря ей возникла определенная преемственность между прошлым и настоящим. Уходящая корнями в натурфилософию средневековая алхимия и послужила тем мостом, который, с одной стороны, был обращен в прошлое – к гностикам, с другой же – в будущее, к современной психологии бессознательного.

Основоположником последней являлся Фрейд, который обратился к классическим мотивам гностиков: сексуальности, с одной стороны, и жесткой отцовской авторитарности – с другой. Гностические мотивы Яхве и Бога Творца Фрейд возродил в мифе об отцовском начале и связанном с ним сверх-эго. Во фрейдовском мифе сверх-эго предстает как демон, породивший мир иллюзий, страстей и разочарований.

Правда, материалистическое начало в алхимии, проникновение ее в тайны материи и т. д. заслонило для Фрейда другой важный аспект гностицизма – первичный образ духа как некоего другого высшего божества. Согласно гностической традиции, это высшее божество послало людям в дар так называемый «кратер» – «сосуд духовной трансформации». «Кратер», чаша – женственный принцип, которому не нашлось места во фрейдовском патриархальном, мужском мире.

И Фрейд был не одинок в своих предрассудках. В католическом мире Богоматерь и невест Христовых лишь недавно допустили в Телемскую обитель и тем самым, после многовековых колебаний, частично их узаконили. У протестантов и иудеев, как и прежде, во главе остается Бог Отец. В изотерической философии алхимиков, напротив, доминирует женское начало. Важнейшее место в «женской» символике алхимиков отводилось чаше, в которой происходило превращение и перерождение субстанций. В моих психологических концепциях центральным также являлся процесс внутреннего перерождения – индивидуации.

...Опыты алхимиков были в каком-то смысле моими опытами, их мир – моим миром. Открытие меня обрадовало: наконец-то я нашел исторический аналог своей психологии бессознательного и обрел твердую почву. Эта параллель, а также восстановление непрерывной духовной традиции, идущей от гностиков, давали мне некоторую опору. Когда я вчитался в средневековые тексты, все встало на свои места: мир образов и видений, опытные данные, собранные мной за прошедшее время, и выводы, к которым я пришел. Я стал понимать их в исторической связи. Мои типологические исследования, начало которым положили занятия мифологией, получили новый толчок. Архетипы и природа их переместились в центр моей работы. Теперь я обрел уверенность, что без истории нет

психологии, – и в первую очередь это относится к психологии бессознательного.

Когда речь заходит о сознательных процессах, вполне возможно, что индивидуального опыта будет достаточно для их объяснения, но уже неврозы в своем анамнезе требуют более глубоких знаний; когда врач сталкивается с необходимостью принять нестандартное решение, одних его ассоциаций явно недостаточно...

Мудрость племени Тао

Среди моих знакомых много американцев. Именно поездка в Америку дала мне возможность критически подойти к европейскому характеру и образу жизни; мне всегда казалось, что нет ничего полезнее для европейца, чем взглянуть на Европу с крыши небоскреба. Впервые таким образом я воображал европейскую драму, будучи в Сахаре, когда меня окружала цивилизация, отдаленная от европейской приблизительно так же, как Древний Рим – от Нового Света. Тогда мне стало понятно, до какой степени – даже в Америке – я все еще стеснен и замкнут в рамках культурного сознания белого человека. И тогда у меня появилось желание углубить эту историческую аналогию, спустившись еще ниже по культурной лестнице.

Оказавшись в Америке в следующий раз, я вместе с американскими друзьями посетил Нью-Мехико – город, основанный индейцами пуэблос. Впрочем, «город» – это слишком сильно сказано, на самом деле это просто деревня, но дома в ней, скученные, густозаселенные, выстроенные один над другим, позволяют говорить о «городе», тем более что так его название звучит на их языке. Так впервые мне удалось поговорить с неевропейцем, то есть не с белым. Это был вождь племени Тао, человек лет сорока или пятидесяти, умный и проницательный, по имени Охвия Биано (Горное Озеро). Я говорил с ним так, как мне редко удавалось поговорить с европейцем. Разумеется, и он жил в своем собственном мире, как европеец – в своем, но что это был за мир! В беседе с европейцем вы, словно песок сквозь пальцы, пропускаете общие места, всем известные, но тем более никому не понятные; здесь же – я словно плыл по глубокому неведомому морю. И неизвестно, что доставляет больше наслаждения, – открывать для себя новые берега или находить новые пути в познании вещей давно известных, пути древние и практически забытые.

«Смотри, – говорил Охвия Биано, – какими жестокими кажутся белые люди. У них тонкие губы, острые носы, их лица в глубоких морщинах, а глаза все время чего-то ищут. Чего они ищут? Белые всегда чего-то хотят, они всегда беспокойны и нетерпеливы. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не понимаем их. Нам кажется, что они сумасшедшие». Я спросил его, почему он считает всех белых сумасшедшими? «Они говорят, что думают головой», – ответил вождь. «Ну, разумеется! А чем же ты думаешь?» – удивился я. «Наши мысли рождаются здесь», – сказал Охвия, указывая на сердце.

Я был ошеломлен услышанным. Первый раз в жизни (так мне казалось) мне нарисовали истинный портрет белого человека; у меня было такое чувство, будто до этого я не видел ничего, кроме размалеванных сентиментальных картинок.

Этот индеец отыскал наше самое уязвимое место, увидел нечто такое, чего не видим мы. У меня возникло ощущение, будто то, чего я не замечал в себе раньше, нечто лишенное очертаний, поднимается во мне. И из этого тумана один за другим выплывают образы. Сначала возникли римские легионеры, разрушающие галльские города, Цезарь с его резкими, словно высеченными из камня, чертами, Сципион Африканский и, наконец, Помпей. Я увидел римского орла над Северным морем и на берегах Белого Нила. Я увидел Блаженного Августина, принесшего на остриях римских пик христианское «credo» бриттам, и Карла Великого с его пресловутым крещением язычников. Я видел банды крестоносцев, грабящих и убивающих. Со всей беспощадностью передо мной обнажилась пустота романтической традиции с ее поэзией крестовых походов. Затем перед глазами появились Колумб, Кортес и прочие конкистадоры, огнем, мечом и пытками проложившие путь христианству, достигшему даже этих отдаленных пуэблос, мечтательных и мирных,

почитающих солнце своим отцом. Я увидел, наконец, жителей Новой Зеландии, куда европейцы доставили морем «огненную воду», скарлатину и сифилис.

Этого было достаточно. Все, что у нас зовется колонизацией, миссионерством, распространением цивилизации и пр., имеет и другой облик – облик хищной птицы, которая с жестокостью и упорством находит добычу подальше от своего гнезда, что отроду свойственно пиратам и бандитам. Все эти орлы и прочие хищники, которые украшают наши гербы, дают психологически верное представление о нашей истинной природе.

* * *

Однако в том, что сказал Охвия Биано, меня поразило и другое. Его слова так точно передавали особое настроение нашего разговора, что мой рассказ выглядел бы неполным, если бы я не упомянул об этом. Мы беседовали на крыше самого большого (пятиэтажного) здания, откуда были видны и другие крыши и на них – фигуры индейцев, закутанных в шерстяные одеяла и созерцающих солнце, свершающее свой путь по небу каждый день, с утра до вечера. Вокруг нас, сгрудившись, стояли низкие квадратные дома, сложенные из высушенного на солнце кирпича (адоба), с характерными лестницами, которые поднимались от земли до крыши и от крыши – к крышам соседних строений. Прежде, в тревожные для индейцев времена, вход в дом обычно располагался на крыше. Перед нами до самого горизонта тянулось предгорье Тао (примерно 2300 м над уровнем моря), некоторые вершины с воронками потухших вулканов достигали 4000 м. Позади нас, за домами, текла прозрачная река, на противоположном берегу которой виднелось еще одно селение пуэблос с такими же домами из красного кирпича, высота которых увеличивалась по направлению к центру, что странным образом напоминало американскую столицу с ее небоскребами в центре. Примерно в получасе езды вверх по реке возвышалась большая гора, просто Гора, Гора без имени. Говорят, что, когда она затянута облаками, мужчины уходят туда, чтобы совершать таинственные обряды. Индейцы пуэблос чрезвычайно скрытны, особенно в том, что касается их религии. Свои обряды они совершают в глубокой тайне, которая охраняется настолько строго, что я воздержался от расспросов, – это ни к чему не привело бы. Никогда раньше я не сталкивался с подобной таинственностью. Религии современных цивилизованных народов вполне доступны, их таинства уже давно перестали быть таковыми. Здесь же сам воздух был преисполнен тайны – тайны, известной всем, но недоступной для белых. Эта странная ситуация напомнила мне об Элевсинских мистериях, об их тайнах, которые всем известны, но никогда не разглашаются. Я понял чувства какого-нибудь Павсания или Геродота, когда писал: «Мне не позволено называть имя этого бога». Здесь царила не мистификация, а мистерия, и нарушение тайны несло в себе опасность, одинаковую для всех и каждого. Хранение же ее наделяет индейца пуэблос некой гордостью и силой, позволяющей противостоять агрессивной экспансии белых. Эта тайна рождает у него чувство своего единства с племенем. Я убежден, что пуэблос как особая общность сохраняется до тех пор, пока будут храниться их тайны.

Поразительно, насколько меняется индеец, когда заходит речь о религии. Обычно он полностью владеет собой и ведет себя с достоинством, что порой граничит с равнодушием. Но когда он заговаривает о вещах, имеющих отношение к его священным тайнам, он становится необыкновенно эмоциональным, не в силах скрывать свои чувства. И это в какой-то степени позволяло мне удовлетворить свое любопытство. Выше я уже говорил, что от прямых расспросов мне пришлось отказаться. Поэтому, желая узнать что-то существенное, я старался делать это крайне осторожно, наблюдая за выражением лица собеседника. Если я касался чего-то важного, он замолкал или же отвечал уклончиво, но на лице его появлялись следы глубокого волнения, глаза наполнялись слезами. Религия для индейцев – отнюдь не теория (можно ли создать теорию, способную вызвать слезы), это то, что имеет прямое и непосредственное отношение к действительности и значит столько же, если не больше…

Когда мы сидели на крыше с Охвией Биано, а слепящее солнце поднималось все выше

и выше, он вдруг сказал, указывая на него: «Тот, кто движется там, в небе, не наш ли это Отец? Разве можно думать иначе? Разве может быть другой Бог? Без солнца ничто не может существовать!» Все сильнее волнуясь, он с трудом подбирал слова и наконец воскликнул: «Что человек делал бы один в горах? Без солнца он не смог бы даже соорудить себе очаг!» Я спросил, не допускает ли он, что солнце может быть огненным шаром, форму которого определил невидимый Бог. Мой вопрос не вызвал у него ни удивления, ни негодования. Вопрос показался ему настолько нелепым, что он даже не счел его глупым, – а просто не обратил на него внимания. Я испытал, будто оказался перед неприступной стеной. Единственное, что я услышал в ответ: «Солнце – Бог! Это видно любому». Хотя никто не станет отрицать огромного значения солнца, но то чувство и то волнение, с которым говорили о нем эти спокойные, скрытные люди, было для меня внове и глубоко меня трогало.

В другой раз, когда я стоял у реки и смотрел на гору, возвышавшуюся почти на 2000 м, мне пришла в голову мысль, что это и есть крыша всего американского континента и что люди, живущие здесь, подобны индейцам, которые, завернувшись в одеяла, стоят на самых высоких крышах Пуэбло, молчаливые и погруженные в созерцание – лицом к солнцу. Внезапно глубокий, дрожащий от тайного волнения голос произнес слева от меня: «Тебе не кажется, что вся жизнь идет от Горы?» Это старый индеец в мокасинах неслышно подошел ко мне и задал свой – не знаю, как далеко идущий, – вопрос. Взгляд на реку, струящуюся с горы, объяснил мне, что его подтолкнуло. По-видимому, вся жизнь идет от Горы потому, что там – вода, а где вода, там жизнь. Нет ничего более очевидного. В его вопросе слышалось глубокое волнение, и я вспомнил разговоры о таинственных ритуалах, совершаемых на Горе. «Каждый может видеть, что ты сказал правду», – ответил я ему. К сожалению, наша беседа вскоре прервалась, так что мне не удалось составить более глубокое понятие относительно символизма воды и горы.

* * *

Я обратил внимание, что индейцы пуэблос, с такой неохотой рассказывавшие о вещах религиозных, с большой готовностью и воодушевлением обсуждали свои отношения с американцами. «Почему американцы не оставят нас в покое? – спрашивал Горное Озеро. – Почему они хотят запретить наши танцы? Почему они не позволяют нашим юношам уходить из школы, когда мы хотим отвести их в Киву. [Место, где совершаются ритуалы.] Мы ведь не делаем ничего, что приносило бы вред американцам!» После долгого молчания он продолжил: «Американцы хотят запретить нашу религию. Почему они не могут оставить нас в покое? То, что мы делаем, мы делаем не только для себя, но и для американцев тоже. Да, мы делаем это для всех. Это нужно всем». По его волнению я понял, что вождь имеет в виду что-то очень важное в своей религии. «Выходит, то, что вы делаете, приносит пользу всем?» – спросил я. «Конечно! Если бы мы не делали этого, что бы стало тогда?» – ответил он с необыкновенным воодушевлением и многозначительно указал на солнце.

Я ощущал, что мы приблизились к деликатной сфере, которая затрагивает священные тайны племени. «Ведь мы – народ, – сказал он, – который живет на крыше мира, мы – дети солнца и, совершая свои обряды, мы помогаем нашему Отцу шествовать по небу. Если мы перестанем это делать, то через десять лет солнце не будет всходить и наступит вечная ночь».

Теперь я знал, откуда берется достоинство и невозмутимое спокойствие этого человека. Он – сын солнца, и его жизнь полна космологического смысла – он помогает своему Отцу, творцу и хранителю жизни на Земле, – он помогает ему совершать это ежедневное восхождение. Если в свете такого самоопределения мы попытаемся объяснить назначение собственной жизни, то, как подсказывает здравый смысл, его убожество поразит нас. Мы покровительственно улыбаемся первобытной наивности индейца, кичимся своей мудростью. Почему? Да потому, что нас гложет обыкновенная зависть. Ведь в противном случае на свет

божий выйдут наша духовная нищета и никчемность.

Знания не делают нас богаче, но все дальше уводят от мифологического миропонимания, которое свойственно было нам когда-то по праву рождения. Если мы на минуту отрешимся от нашего европейского рационализма и окажемся вдруг на этих вершинах с их кристальным воздухом, где по одну сторону – полоса материковых прерий, по другую – Тихий океан, если мы пожертвуем своими сознательными представлениями о мире ради этой бескрайней линии горизонта, за которой скрыто то, чего мы не знаем, что неподвластно сознанию, – только тогда мы увидим мир таким, каким его видят индейцы пузблос. «Вся жизнь приходит с гор», – и в этом они могут убедиться непосредственно. Точно также они убеждены, что живут на крыше безграничного мира, ближе всех к Богу. Бог слышит их лучше других, их поклонение, их обряды достигают далекого солнца раньше, чем другие. Священная Гора, явление Яхве на горе Синай, вдохновение, испытанное Ницше на Энгадине, – все это явления одного порядка. Мысль о том, что исполнение обряда может магическим образом воздействовать на солнце, мы считаем абсурдной, но, если вдуматься, она не столь уж безумна, более того, она нам гораздо ближе, чем мы предполагаем. Наша христианская религия, как и всякая другая, проникнута идеей, что особого рода действия или поступки – ритуал, молитва или богоугодные дела – могут влиять на Бога.

Ритуальные действия всегда являются собой некий ответ, обратную реакцию, и предполагают не только прямое «воздействие», но зачастую преследуют и магическую цель. Но чувство, что ты сам в состоянии ответить на проявление Божественного могущества, что ты сам способен сделать для Бога что-то важное, преисполняет человека гордостью, дает ему возможность ощутить себя своего рода метафизическим фактором. «Бог и мы» – даже если это бессознательный *soustendu*, это все же ощущение равноправности, позволяющее человеку вести себя с завидным достоинством, и такой человек в полном смысле слова находится на своем месте.

Déjà vu (Дежавю)

Мне давно хотелось пусть недолго, но пожить в какой-нибудь неевропейской стране, среди людей, мало похожих на европейцев. С двумя друзьями, англичанином и американцем, я выехал в Момбаз.

Момбаз остался в моей памяти как жарко-влажный город, упрятанный в лесу среди пальм и манго, очень живописный, с природной гаванью и старинным португальским фортом, – город столь же европейский, сколь и негритянский и индийский. Мы пробыли там два дня и к вечеру третьего отправились по узкоколейке в Найроби.

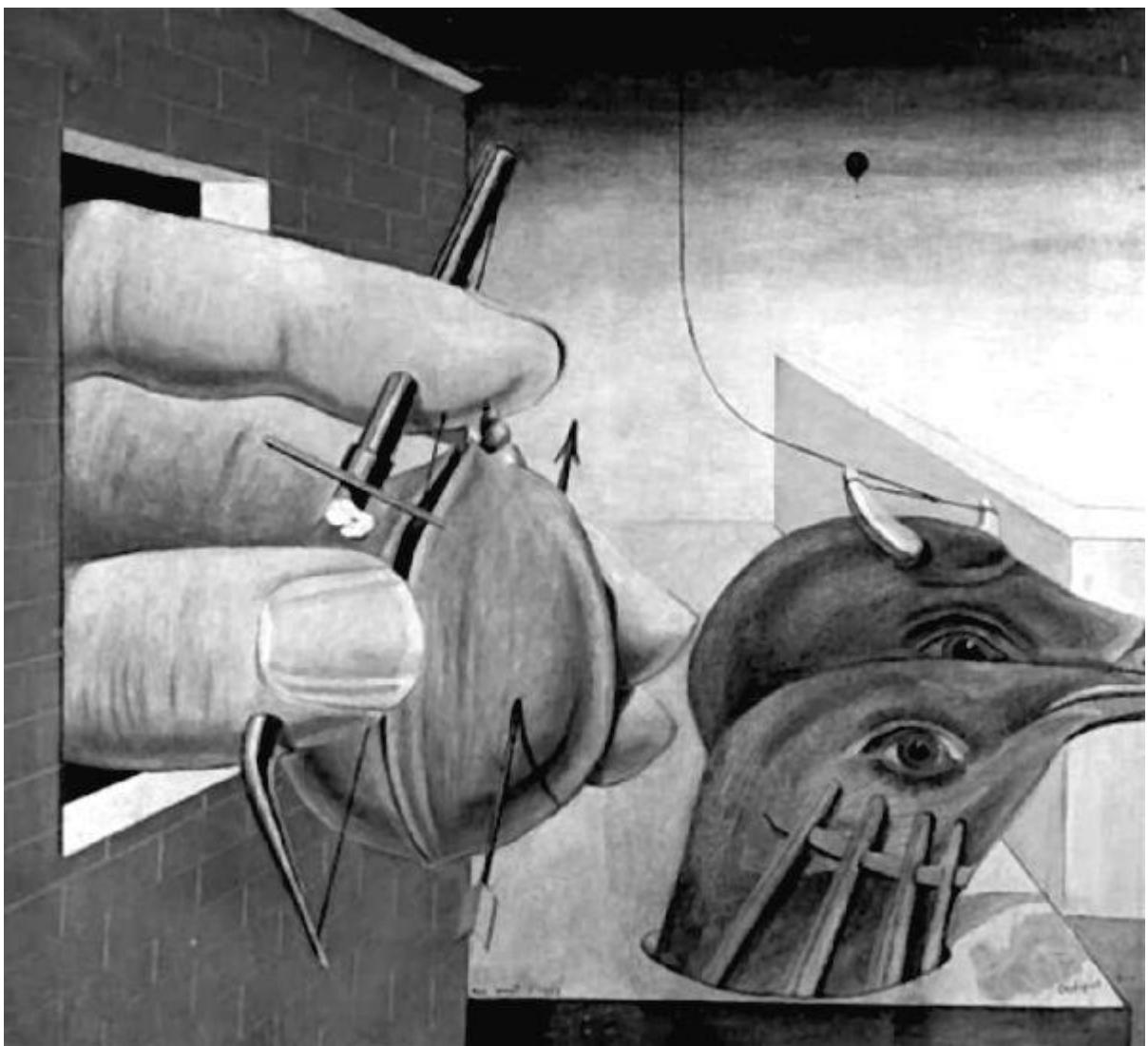
Наступала тропическая ночь. Мы ехали вдоль прибрежной полосы, мимо многочисленных негритянских селений, где люди сидели и беседовали, расположившись вокруг небольших костров. Вскоре поезд пошел на подъем, селения исчезли. Опустилась фиолетово-черная ночь. Жара немного спала, и я заснул. Меня разбудили первые лучи солнца; поезд, окутанный красным облаком пыли, как раз огибал оранжево-красный скалистый обрыв. На выступе скалы, опервшись на длинное копье и глядя вниз на поезд, неподвижно стояла тонкая черно-коричневая фигурка. Рядом возвышался гигантский кактус.

Я был околдован необычным зрелищем. Это была встреча с чем-то совершенно чуждым, никогда не виданным мной, но в то же время я ощущал некое сильное *sentiment du déjà vu*. Мне казалось, что я всегда знал этот мир и лишь случайно оказался разделенным с ним во времени. Казалось, будто я возвратился в страну своей юности и знаю этого темнокожего человека – он ждет меня уже пять тысяч лет. Это настроение не покидало меня все время, пока я путешествовал по Африке.

Из Найроби мы на маленьком форде выехали к равнине Атхи, где раскинулся огромный заповедник. С невысокого холма открывался величественный вид на саванну, протянувшуюся до самого горизонта; все покрывали бесчисленные стада животных – зебр, антилоп, газелей и т. д. Жуя траву и медленно покачивая головами, они беззвучно текли

вперед, как спокойные реки; это мерное течение лишь иногда прерывалось однотонным криком какой-нибудь хищной птицы. Здесь царил покой извечного начала, это был такой мир, каким он был всегда, до бытия, до человека, до кого-нибудь, кто мог сказать, что этот мир – «этот мир». Потеряв из виду своих попутчиков, я оказался в полном одиночестве и чувствовал себя первым человеком, который узнал этот мир и знанием своим сотворил его для себя.

В этот миг мне во всей полноте открылся космологический смысл сознания. «*Quod natura relinquit imperfectum, ars perficit*», – говорили алхимики. Невидимым актом творения человек придает миру завершенность, делая его существование объективным. Мы считаем это заслугой одного лишь Создателя, даже не предполагая, что тем самым превращаем жизнь и собственное бытие в некий часовой механизм, а психологию человеческую – в нечто бессмысленное, развивающееся по заранее предопределенным и известным правилам. Эта утопия часового механизма – совершенно безнадежная – не знает драмы человека и мира, человека и Бога. Ей не ведомо, что есть «новый день» и «новая земля», она подвластна лишь монотонному раскачиванию маятника. Я подумал о своем приятеле, индейце пуэбло: он видел, что смысл его существования в том, чтобы каждый день помогать отцу – Солнцу совершать свой путь по небу. Я не мог избавиться от чувства зависти к нему – ведь его жизнь была полна смысла, а я все еще без всякой надежды искал свой собственный миф. Теперь я его нашел и более того – осознал, что человек есть тот, кто завершает творение, что он – тот же создатель, что только он один вносит объективный смысл в существование этого мира; без него все это, неуслышанное и неувиденное, молча поглощающее пищу, рождающее детенышей и умирающее, бессмысленной тенью сотни миллионов лет пребывало в глубокой тьме небытия, двигаясь к своему неведомому концу. Только человеческое сознание придает всему этому смысл и значение, и в этом великом акте творения человек обрел свое неотъемлемое место.



Царь Эдип. Художник Макс Эрнст

* * *

Мое путешествие в Индию в 1938 году произошло не по моей инициативе. Этим я обязан британскому правительству Индии, которое пригласило меня принять участие в торжествах по случаю 25-летия университета в Калькутте.

Я много читал об индийской философии и религиозной истории и был убежден, что восточная мудрость – настоящая сокровищница знаний о человеке. Но я должен был увидеть все собственными глазами и остаться самим собой подобно некоему гомункулусу в колбе. Индия явилась мне как сон, ведь я всегда искал себя, свою правду. Путешествие оказалось своего рода прелюдией к напряженным занятиям алхимической философией, они целиком меня поглотили, я даже захватил с собой первый том «Theatrum Chemicum» с основными работами Герхарда Дорна. За время путешествия книга была проштудирована от корки до корки. Так идеи европейской философии соприкоснулись с впечатлениями от чуждой мне культуры и образа мышления. Но и та и другая основываются на изначальном духовом опыте бессознательного – отсюда единство, подобие или, по крайней мере, возможность уподобления... В Индии меня в основном интересовала проблема психологической природы зла. В сравнении с духовной жизнью Европы меня поразило здесь совершенное отсутствие противоречий, и эта проблема представилась мне в новом свете. В беседе с образованным китайцем я был снова потрясен способностью этих людей принимать так называемое «зло», не теряя лица.

На Западе такое немыслимо. Но у восточного человека вопрос морали стоит вовсе не на

первом месте, для него добро и зло – неотъемлемые составляющие природы и являются всего лишь различными степенями и качествами одного и того же.

Я видел, что индийская духовность в равной мере принимает и зло, и добро. Христианин стремится к добру, но уступает злу, индус ощущает себя вне добра и зла, достигая этого состояния с помощью медитации или йоги. Хотя здесь я должен заметить, что при подобном раскладе и добро, и зло размываются, теряя конкретные очертания, что, в конце концов, приводит к духовному застою. Нет более ни зла, ни добра. В лучшем случае есть мое добро или мое зло, как нечто, кажущееся мне добром или злом. Отсюда приходится признавать и тот парадокс, что индийская духовность одинаково не нуждается ни в зле, ни в добре, что она обременена противоречиями и что нирвана – необходимое условие освобождения от последних и еще от десяти тысяч вещей.

Цель индуза – не моральное совершенство, а только состояние нирваны. Желая отрешиться от собственной природы, медитацией он достигает состояния легкости и пустоты, освобождая себя таким образом. Я же, напротив, хочу остаться при своем – я не желаю отказываться ни от человеческого общения, ни от природы, ни от себя самого и собственных фантазий. Я убежден, что все это даровано мне как величайшее чудо. Природу, душу и жизнь я воспринимаю как некое развитие божества – к чему же большему стоит стремиться? Высший смысл бытия для меня заключается в том, что оно есть, а не в том, чтобы его не было.

Я не признаю освобождения a tout prix и не могу избавить себя от того, чем не владею, чего не делал или не испытывал. Подлинное освобождение приходит лишь тогда, когда ты сделаешь для этого все возможное, пожертвую всем, что у тебя есть, и завершишь то, что определил для себя. А если я ухожу от проблем, лишая себя сочувствия и соучастия, то уничтожаю соответствующую часть своей души. Конечно, вполне возможно, что моя доля сочувствия и соучастия достается мне слишком дорогой ценой и я имею все основания отказаться от нее. Но и в этом случае можно говорить лишь о собственной «*non possumus*» и смириться с потерей чего-то, быть может, существенного, со своим неумением в конце концов справиться с некой задачей. Именно так осознание собственной непригодности заменяет отсутствие реального действия. Человек, не перегоревший в аду собственных страстей, не может их победить. И они прячутся рядом, в соседнем доме, чего он даже не предполагает. А пламя в любой момент может перекинуться и сжечь дом, который он считает своим. То, от чего мы уходим, уклоняемся, якобы забывая, находится в опасной близости от нас. И в конечном счете оно вернется, но с удвоенной силой.

* * *

В Кхаджурахе (Орисса) я встретился с одним индусом, который предложил проводить меня в храм и показать большую храмовую пещеру. Всю пагоду заполняли особого рода скульптуры. Мы долго обсуждали этот необычный факт, причем мой провожатый видел в скульптурах средство духовного совершенствования. Я возражал, указывая на группу молодых крестьян, которые, открыв рты, уставились на это великолепие: вряд ли этих молодых людей интересует сейчас духовное совершенствование или что-либо подобное, куда более вероятно, что их мысли в этот момент заняты исключительно сексуальными фантазиями. На что индус ответил: «Вот это и есть главное. Разве смогут они когда-нибудь достигнуть духовного совершенства, если не исполнят свою карму? Эти фигуры здесь именно для того, чтобы напомнить людям о дхарме (добродетели) ибо, не осознавая ее, они могут забыть о ней».

Мне подобное толкование показалось в высшей степени странным, хотя мой спутник действительно считал, что молодые люди могут забыть о своей сексуальности, и всерьез пытался убедить меня в том, что они бессознательны, как животные, и нуждаются в поучениях. Для этой цели, по его словам, и существует такого рода внешний декор, и, прежде чем ступить в пределы храма, они должны вспомнить о дхарме, иначе их сознание не

пробудится и они не придут к духовному совершенству.

Когда мы вошли в ворота, индус указал на двух «искусительниц» – скульптурные изображения танцующих девушек с соблазнительным изгибом бедер, они улыбались, приветствуя входящих. «Вы видите этих танцующих девушек? – спросил он. – Смысл здесь тот же. Разумеется, я не имею в виду ни меня, ни вас, кто уже достиг определенного уровня сознания, мы – выше такого рода вещей. Но эти крестьянские парни нуждаются в напоминании и предостережении».

Когда мы, выйдя из храма, стали спускаться по аллее лингамов, он внезапно сказал мне: «Вы видите эти камни? Знаете ли, что они означают? Я открою вам великую тайну». Я был удивлен: мне казалось, что фаллическое содержание этих памятников ясно и ребенку. Но он прошептал мне на ухо с величайшей серьезностью: «Эти камни – интимная часть мужского тела». Я ожидал, что он сообщит мне что-либо о символах великого бога Шивы.

Ошеломленный, я посмотрел на него, но он лишь важно кивнул головой, словно говоря: «Да-да, это правда. Вы же в своем европейском невежестве никогда бы об этом не догадались!» Когда эту историю услыхал Генрих Циммер, он восторженно воскликнул: «Наконец-то я узнаю что-то стоящее об Индии!».

Ступа Санчи вызвала во мне неожиданное и сильное чувство: так бывает, когда я вижу нечто – вещь, личность или идею, – что мне не вполне понятно. Ступа стоит на скалистом холме, к вершине которого ведет удобная тропа, выложенная большими каменными плитами. Этот храм – реликварий сферической формы, он напоминает две гигантские чаши для риса, поставленные одна на другую, как предписывал сам Будда в Маха-Паринибба-на-Сутре. Англичане очень бережно отреставрировали ее.

Самое большое из этих строений окружено стеной с четырьмя искусно украшенными воротами. Вы входите – и тропа поворачивает налево, затем вкруговую – по часовой стрелке – ведет вдоль ступы. Четыре статуи Будды обращены к четырем, сторонам света. Пройдя один круг, вы вступаете во второй – параллельный, но расположенный несколько выше. Широкая панорама долины, сами ступы, руины храма, покой и уединение – все это растревожило и зачаровало меня. Я на время покинул своих спутников, погрузившись в атмосферу этого удивительного места. Где-то вдали послышались ритмичные удары гонга, они медленно приближались. Это оказалась группа японских паломников. Они двигались один за другим, ударяя в маленькие гонги, и скандировали древнюю молитву: «*От mani padme hum*». Удар гонга приходился на «*hum*». Паломники низко склонились перед ступой и вошли в ворота. Там они склонились снова у статуи Будды, распевно произнося что-то вроде молитвы, затем дважды прошли по кругу, приветствуя гимном каждую статую Будды.

Я проводил их глазами, но душой был с ними, что-то во мне посыпало им безмолвную благодарность за то, что их появление чудесным образом помогло мне найти способ выразить охватившее меня чувство. Мое волнение указывало на то, что холм Санчи явился для меня неким центром. Это был буддизм, который я увидел в новом свете. Жизнь Будды предстала передо мной как воплощение самости, именно идея самости, самодостаточности, была ее смыслом; она, эта идея, стояла выше всех богов и была сутью бытия – человека и мира. Как *unus mundus* она воплощает и бытие в себе, и знание о нем – знание, без которого ничего существовать не может. Будда увидел и осознал космогонический смысл человеческого сознания, понимая, что, если человек позволит этому свету угаснуть, мир обратится в тьму, в ничто.

Величайшая заслуга Шопенгауэра в том, что и он тоже – или и он вновь – признал это.

Богообраз и Мандала

Христос, как и Будда, воплощает в себе самость, но в совершенно ином смысле. Оба они одержали победу над этим миром: Будда, так сказать, здравым смыслом, Христос – искупительной жертвой. Христианство учит страдать, буддизм – видеть и делать. Оба пути ведут к истине, но для индуиста Будда – человек, пусть совершенный, но человек, тем более

что он личность историческая, и людям легче понять его. Христос – и человек, и в то же время Бог, понять это гораздо сложнее. Он и сам не осознавал всего, зная лишь то, что обречен пожертвовать собой, такова его судьба. Будда действовал, как считал нужным, он прожил свою жизнь до конца и умер в глубокой старости. Христос же был тем, чем ему должно было быть, – он прожил очень недолго. Со временем буддизм, как и христианство, претерпел многие изменения.

Будда сделался, если можно так выразиться, воплощением саморазвития, образцом для подражания, хотя сам он учил, что, преодолев цепь сансары, каждый человек способен достичь просветления, стать буддой. Аналогично и в христианстве Христос представляется неким прообразом, который живет в каждом христианине и в своем роде является собой идеальную модель личности. Но исторически христианство пришло к *«imitatio Christi»*, когда человек не пытается искать свой, предназначенный ему духовный путь, но ищет подражания, следует за Христом. Так и Восток пришел, в конце концов, к своего рода *imitatio*, Будда стал образцом для подражания, что уже само по себе есть искажение его учения, равно как *«imitatio Christi»* привело к неизбежному застою в развитии христианства. Как Будда в своем знании далеко превзошел брахманов и их богов, так и Христос возвещал евреям: «Вы боги» (Ин. 10:34), но люди так и не смогли принять это. И теперь мы видим, что так называемый «христианский» Запад, так и не создав нового мира, стремительно приближается к разрушению имеющегося...

В христианстве замечательно то, что в его доктринах предусматриваются некоторые изменения божества, исторические метаморфозы «потустороннего». Так появляется новый сюжет о расколе на небесах, впервые упоминаемый в мифе о сотворении, и там же появляется змееподобный антагонист Создателя, чтобы ввести в искушение первого человека обещанием большего знания – *scientes bonum et malum*.

В другом месте является падший ангел – в некотором роде опрометчивое вторжение бессознательного в человеческий мир. Ангелы – странные существа: сами по себе они такие, какие есть, и другими быть не могут: это существа без души, имеющие в себе только то, что вложил в них Создатель. В этой ситуации падшим ангелом мог сделаться только «плохой» ангел. Здесь имеет место известный эффект «инфляции», который наблюдаем сегодня в мании величия диктаторов: ангелы обратили людей в расу гигантов, что, по Еноху, приведет к вырождению человеческого рода. Третьей и заключительной стадией мифа явилось воплощение Бога в Человеке. Так исполнилось ветхозаветное пророчество о Богоявлении. Уже в первые века христианства идея воплощения была подкреплена тезисом *«Christus in nobis»*. Таким образом, бессознательная целостность проникла в психические сферы внутреннего опыта, давая человеку некое предчувствие целостной формы, что имело колossalное значение, причем не только для человека, но и для Создателя: в глазах тех, кто избавился от тьмы, Он стал *summum bonum*. Миф пережил тысячелетие, пока наконец в XI веке не обнаружились первые признаки последующей трансформации сознания. С тех пор тревога и сомнения росли, и к концу второго тысячелетия образ вселенской катастрофы предстал перед нами со всей очевидностью. Он выражается в мании величия, своего рода заносчивости сознания: «нет ничего выше человека и дел человеческих». Таким образом, трансцендентность христианского мифа была утрачена, а вместе с ней и христианское представление о целостности.

За светом следует тень, другая сторона Творца. Пик этой тенденции приходится на XX век. Ныне христианский мир воистину столкнулся со злом, с откровенной несправедливостью, тиранией, ложью, рабством и принуждением. В неприкрытой форме мы видим это в России, хотя родиной первого губительного пожара стала Германия, и это со всей неопровергимостью доказывает, свидетельствует о слабости позиций христианства в XX веке. Оказавшись лицом к лицу с этим злом, уже не спрячешься за эвфемизмом вроде *privatio boni*.

Зло стало определяющим в этом мире, от него уже невозможно отделаться иносказаниями. Наша задача – научиться избегать его, поскольку оно уже здесь, рядом с

нами; а возможно ли это, удастся ли нам избежать еще большего зла, сказать пока трудно. В любом случае мы оказались перед необходимостью переориентировать свое сознание. Соприкоснувшись со злом, мы каждый раз рискуем уступить ему. Следовательно, нужно приучить себя к мысли, что нельзя уступать ничему – даже добру; пресловутое добро, перед которым мы склоняемся, утратило свой этический характер. В этом нет ничего дурного, но, уступая, мы должны быть готовы ко всему, что за этим последует. Любая форма наркомании – болезнь, будь то алкоголизм, морфинизм или идеализм. Противоположности так часто вводят в соблазн!

* * *

Критерием морального действия не может более служить тот факт, что мы понимаем добро как некий категорический императив, а зло как то, чего в любом случае можно избежать. Понимание реальности зла вынуждает нас признать, что добро есть всего лишь противоположный полюс зла, и, стало быть, оно относительно, что и добро, и зло – всего лишь части некоего парадоксального целого. По сути, это означает, что добро и зло утрачивают свой абсолютный характер, то есть и то, и другое – всего лишь суждения.

Все человеческие суждения несовершены, что заставляет нас всякий раз сомневаться в правильности наших суждений. Ошибаться может каждый, и это в итоге превращается в проблему этическую, в той степени, в какой мы не уверены в своих моральных оценках. Но этический выбор остается всегда, относительность «добра» и «зла» не означает, что эти категории обесценились и перестали существовать. Этические суждения наличествуют всегда и приводят к специфическим психологическим последствиям. Я не единожды подчеркивал, что любая несправедливость, которую мы совершили или помышлили, обрушится местью на наши души, и это произойдет независимо от отношения к нам окружающих.

Конечно, смысл суждения не остается неизменным, он зависит от условий места и времени, но в основе этической оценки всегда лежит некий общепринятый и бесспорный моральный кодекс, как бы определяющий абсолютные границы между добром и злом. Как только мы начинаем понимать степень ненадежности наших оснований, этическое решение превращается в субъективный творческий акт, в чем можно убедиться лишь путем concedente Deo, – то есть спонтанным и бессознательным импульсом.

Собственно этика, сам выбор между добром и злом, от этого проще не становится. Ничто не в состоянии избавить нас от мук этического выбора. И, тем не менее, как это резко ни прозвучит, мы должны иметь возможность в определенных обстоятельствах уклониться от того, что известно как добро, и делать то, что считают злом, если таков наш этический выбор. Короче, мы не должны идти на поводу у противоположностей. В таких случаях немалую услугу может оказать известный в индийской философии принцип *neti-neti*, когда моральный кодекс неизбежно снимается и этический выбор предоставляется индивидууму. Сама по себе эта идея стара как мир, еще в допсихологические времена ее называли «конфликтом долга» или «конфликтом чести».

Но, как обычно, человек неспособен осознать эту возможность выбора, поэтому он все время с робостью оглядывается вокруг пытаясь найти какие-либо внешние, общепринятые законы и установления, на которые он в его неуверенности мог бы опереться. Несмотря на вполне понятные человеческие слабости, основная вина за это ложится на систему образования, которая привыкла стричь всех под одну гребенку, игнорируя личность и ее индивидуальный опыт. Таким образом, идеализм превращается в своего рода догму, когда люди по должности исповедуют то, чего не знают, чего им не достичь, склоняются перед некими нормами, которые не исполняются и никогда не будут выполнены.

И такое положение всех устраивает!

Иными словами, тот, перед кем стоит сегодня этот вопрос, прежде всего нуждается в самосознании, то есть в осознании собственной целостности. Если он желает жить, не

обманывая себя, ему следует хладнокровно оценить, до какой степени он способен на добро, и каких можно ждать от него преступлений, причем рассматривать первое как реальность, а второе – как иллюзию. Возможно и то и другое, он может оказаться тем или другим – такова его натура.

* * *

Но как безнадежно мы далеки от такого уровня самосознания несмотря на то, что в большинстве своем обладаем и способностями, и возможностями. Тем не менее, знать себя необходимо, только таким путем можно приблизиться к основе, ядру человеческой природы, к изначальным инстинктам. Инстинкты даны нам *a priori* и безусловно определяют наш сознательный выбор, они составляют бессознательное и его содержание, о котором невозможно вынести окончательное суждение. Мы можем лишь предполагать, но в полной мере понять его сущность и определить его разумные границы мы не в состоянии. Свое знание природы мы совершенствуем благодаря науке, которая расширяет границы сознания, ведь познание себя тоже нуждается в науке, то есть в психологии. Невозможно построить телескоп или микроскоп только с помощью рук и доброй воли, не имея ни малейшего представления об оптике.

Сегодня мы нуждаемся в такой психологии, которая была бы непосредственно связана с нашей жизнью. Теперь же, встретившись со злом, мы даже не представляем, в чем его суть и что ему можно противопоставить. А если бы даже и знали, все равно оставался бы вопрос: «Как это могло произойти?» С трогательной наивностью какой-нибудь государственный деятель способен заявить, что не имеет «представления о зле». Все так: точно не имеем. Зато зло имеет представление о нас. Одни не хотят о нем слышать, другие – отождествляют себя с ним. Психологическая ситуация сегодня такова: одни считают себя христианами и воображают, будто стоит им захотеть, как они уничтожат это пресловутое зло, другие поддались ему и уже не знают добра. Власть и сила зла сегодня очевидны; в то время как одна половина человечества, пользуясь склонностью людей к умствованиям, фабрикует доктрины, другая страдает от отсутствия мифа.

Христианские народы пришли к печальному итогу: христианство закостенело и оказалось неспособным развивать свой миф на протяжении веков. Тех же, кто пытался выразить некие смутные опыты мифологических построений, не стали слушать: Гиацинте де Фьоре, Мейстер Экхарт, Якоб Бёме и многие другие в мнении большинства так и остались «мракобесами». Люди не в состоянии осознать, что застывший миф умирает. Наш миф поражен немотой, в нем заключен некий изъян – вина целиком лежит на нас самих: не позволили ему развиваться, подавляя все попытки, предпринимавшиеся в этом направлении. В первоначальной версии мифа более чем достаточно исходных возможностей для развития. Вспомните, к примеру, слова Христа: «Будьте мудры, как змии, и кротки, как голуби». Зачем нам змеиная мудрость? И как это должно сочетаться с голубиной кротостью? «Будете как дети...» Кто-нибудь дал себе труд задуматься над тем, каковы дети на самом деле? Какой моралью оправдывал Господь присвоение осла, который понадобился ему для триумфального въезда в Иерусалим? Или эту детскую раздражительность, с которой он вдруг проклял смоковницу? Какая мораль следует из притчи о неверном управителе и какой глубокий смысл заложен в апокрифическом изречении: «Человек, если ты знаешь, что ты делаешь, – ты благословен, но если не знаешь, ты проклят, ибо ты нарушил закон»? [Codex Bezae, ad Lucam, 6, 4.] Что, в конце концов, стоит за признанием апостола Павла: «Где нет закона, нет и преступления»? Не будем даже говорить о маловероятных пророчествах Апокалипсиса, все равно никто им не верит.

Вопрос, поднятый в свое время гностиками, – откуда явилось зло? – остался без ответа, и осторожное предположение Оригена о возможном искуплении дьявола назвали ересью. Сегодня этот вопрос поставлен снова, а мы стоим, смущенные и растерянные, не в состоянии уяснить, что никакой миф нас не спасет, хотя мы нуждаемся в нем как никогда. Мы

страшимся политических потрясений; пугающие, я бы сказал дьявольские, успехи науки вселяют в нас ужас и порождают тяжелые предчувствия. Но мы не видим выхода, и только немногие понимают, что единственное наше спасение – в давно забытой человеческой душе.

* * *

Развитию мифа мог бы способствовать эпизод в Писании, когда Святой Дух нисходит на апостолов, превращая их тем самым в детей Божьих, и не только их, но и других – всех, кто от них и после них был наделен этим свойством – *filiatio*, Богосыновством, и кто таким образом разделил бы уверенность в том, что и они уже не порождение земли, низшие животные, но, дважды рожденные, происходят от Бога. Их видимая, физическая жизнь проходит на этой земле, но у невидимого, «внутреннего человека» иное происхождение и иное будущее: в изначальных образах целостности и в Вечном Отце, согласно христианскому мифу о спасении. Так как Творец един, то и творение Его и Сын Его должны быть едины. Учение о Божественном единстве не допускает отступлений. И все же пределы света и тьмы явились без ведома сознания. Этот исход был предсказан задолго до явления Христа – среди прочего мы можем найти это в книге Иова или в дошедшей до нас с дохристианских времен известной книге Еноха. В христианстве этот метафизический раскол углубился: сатана, который в Ветхом Завете состоял при Яхве, превращается теперь в диаметральную и вечную противоположность Божьему миру. УстраниТЬ его невозможно. И ничего удивительного, что уже в начале XI века появилось еретическое учение, будто не Бог, а дьявол сотворил этот мир. Таково было вступление во вторую половину христианского зона, при том что раньше уже возник миф о падших ангелах, от которых человек получил опасное знание наук и искусства. Что эти древние авторы сказали бы о Хиросиме?

Якоб Бёме в своих гениальных видениях разглядел парадоксальность природы Богообраза, чем способствовал дальнейшему развитию мифа. Символ мандалы у Бёме раскрывает идею раскола: внутренний круг разделен там на две половины, которые расположены друг против друга. Согласно христианскому учению, Бог един в трех Лицах, Он в каждой частице разлитого в мире Духа Святого, потому каждый причастен единому Богу, а значит причастен и *filiatio*, Богосыновству (Евр. 6, 4). *Complexio oppositorum*, что содержит в себе Богообраз, таким образом, предопределено каждому человеку, и не в единстве, а в конфликте, причем темная сторона образа не соответствует общепринятым представлениям, что «Бог есть свет». Это реалии наших дней, хотя они едва ли осознаются официальными учителями человечества, которые, надо полагать, обязаны понимать такие вещи. Мы отдаем себе отчет в том, что достигли определенного исторического рубежа, но воображаем, будто это связано с расщеплением атома или с космическими полетами. И, как всегда, мы никак не замечаем того, что происходит в этот момент в человеческой душе.

Поскольку Богообраз с психологической точки зрения есть очевидная основа и духовное начало, глубинная дилемма, его определяющая осознается уже как политическая реальность: имеет место уже некая психическая компенсация. Она проявляется в форме спонтанно возникающих округлых образов, которые представляют собой синтез свойственных в душе противоположностей. Сюда я бы отнес широко распространившиеся с 1945 года слухи о НЛО – неопознанных летающих объектах. Они основаны или на видениях, или на реальных фактах. Под НЛО подразумевается некий летательный аппарат, прилетевший к нам либо с другой планеты, либо вообще из четвертого измерения.

Более 20 лет назад (в 1918 году), исследуя коллективное бессознательное, я обнаружил наличие универсального символа подобного рода – символа мандалы. Чтобы утвердиться в этом, я более 10 лет собирал материалы, прежде чем в 1929 году обнародовал свои результаты. Мандала – это архетипический образ, существование которого прослеживается на протяжении тысячелетий. По сути – это целостность самости, или целостность «внутреннего человека», а с мифологической точки зрения – возникновение в человеке божественного начала. В противоположность рисункам Бёме, современные символы

стремятся к единству, то есть к некой компенсации распада и, следовательно, к его преодолению. Процесс этот протекает в коллективном бессознательном и проявляется во всем. Слухи об НЛО – одно из подобных свидетельств, один из симптомов всеобщего психического состояния.

* * *

Когда аналитическая терапия выводит на поверхность сознания так называемую «тень», следствием ее оказывается расщепление, обострение противоречий, которые, в свою очередь, стремятся к выравниванию и единству. Символы в подобных ситуациях выполняют роль посредников. Столкновение противоположностей, если отнести к ним серьезно, может поставить нашу психику на грань слома. Это логическое *tertium non datur* еще раз подтверждает, что решения нет. Если же все в порядке, оно возникает само собой, и только в этом случае оно убедительно, только в этом случае оно воспринимается как «благодать». Поскольку решение рождается в столкновении и борьбе противоположностей, оно является, как правило, нераздельным сплавом сознательных и бессознательных факторов, символ которого – две сложенные половинки монеты. Этот символ (результат совместных усилий сознательного и бессознательного) и создает подобие Богообраза в форме мандалы – наиболее простой модели целостности. Этот образ, представляющий столкновение противоположностей и их примирение, подсказывает нам воображение.



Фигуры на пляже. Художник Пабло Пикассо

Столкновение, природа которого всегда индивидуальна, осознается обычно как частный случай универсального конфликта. Наша психическая структура повторяет структуру Вселенной, и все происходящее в космосе повторяет себя в бесконечно малом и единственном пространстве человеческой души. Отсюда Богообраз – это всегда проекция внутреннего ощущения какого-то великого противостояния. Затем этот опыт получает наглядное воплощение в предметах, порождающих подобную ассоциацию, а сами предметы с тех пор сохраняют свое нуминозное значение или, точнее, отличаются большой долей нуминозности. В таком случае воображение полностью освобождается от всего конкретного

и пытается уловить образ невидимого, того, что стоит по ту сторону вещей. Я имею в виду простейшие, базисные формы мандалы – круг и простейшее умозрительное разделение круга: это квадрат и, разумеется, крест.

Такие опыты могут влиять на человека как благотворно, так и разрушительно. Человек не умеет их осмысливать, понять, управлять ими, как не умеет от них освободиться или уйти, и потому он ощущает себя в их власти. Догадываясь, что они не связаны с индивидуальным сознанием, он дает им имена: мана, демон или бог. Наука, в свою очередь, придумала термин «бессознательное», признавая тем самым, что ничего не знает о нем; естественно, что она и не может ничего знать о субстанции души, поскольку именно душа является единственным источником нашего знания о чем-либо. А отсюда вытекает, что опровергнуть смысл обозначенных словами «мана», «бог» или «демон» явлений невозможно ни опровергнуть, ни доказать. Однако мы убеждены, что ощущаем нечто объективное и в то же время потустороннее, и это наше ощущение соответствует действительности.

Нам известно, что существует нечто неведомое и оно существует в нас, точно так же, как известно, что не мы творим свои сны или рождаем внезапные счастливые мысли и озарения, но что это происходит с нами без нашего участия. Таким образом, все, что происходит с нами, можно считать исходящим от бога, демона или бессознательного. И если первые два понятия обладают огромным преимуществом, заключая в себе некое эмоциональное качество нуминозности, последнее – бессознательное – банально и потому более правдоподобно. Именно это понятие содержит в себе ту эмпирическую сферу, нашу будничную реальность, которая нам так хорошо известна.

«Бессознательное» – понятие слишком нейтральное и рациональное, оно ничего не говорит воображению. Введенное в научный оборот, оно является скорее инструментом для беспристрастных наблюдений, не претендуя на метафизичность, что выгодно отличает его от разного рода трансцендентных понятий, довольно спорных, уязвимых и ведущих к фанатизму.

Я, как видите, предпочитаю термин «бессознательное», хотя знаю, что могу с тем же успехом произнести «бог» или «демон», если хочу выразить нечто мифологическое. Прибегая к мифологическому способу выражения, я помню, что «мана», «демон» и «бог» – синонимы «бессознательного» и что мы знаем о них так же много, как и мало. Люди верят, что знают гораздо больше; и в определенном смысле эта вера, может быть, полезнее и эффективнее наукообразной терминологии.

* * *

Неоспоримое преимущество мифологических понятий заключается в том, что они в гораздо большей степени объективируют конкретику и, соответственно, осуществляют ее персонификацию, а эмоциональность делает их жизнеспособными и эффективными. Любовь и ненависть, страх и благоговение выходят на сцену, поднимая конфликт до уровня драмы, «статисты» становятся «действующими лицами». Человеку как бы бросают вызов вступить в борьбу с роковыми обстоятельствами, и только так он достигнет целостности, и только тогда может «родиться Бог» – то есть он явится человеку в образе человека. В этом акте перевоплощения человек, то есть его «я», внутренне замещается «Богом», а «Бог» внешне уподобляется человеку в соответствии со словами Иисуса: «Видевший Меня видел Отца» (Ин., 14:9).

Именно в этом проявляется недостаточность мифологической терминологии. Привычное христианское представление о Боге определяет Его как всемогущего, всезнающего и всеблагого Отца и Создателя. Когда этот Бог уподобляется человеку, Он уничижается до бесконечно малого; трудно даже понять, почему человеческая сущность не разрушается при этом. Догматическое богословие, соответственно, наделяет Иисуса свойствами, возвышающими его над обычными людьми. Прежде всего на нем нет macula peccoti, и уже поэтому он, по меньшей мере, богочеловек, или полубог. Христианский

Богообраз не может быть воплощен в эмпирическом человеке без противоречий, ведь совершенно ясно, что человек – на поверхности житейской – выглядит мало приспособленным к тому, чтобы представлять Бога.

Мифу в конечном счете придется прийти к монотеизму, отказавшись от деизма, официально отвергнутого, но и поныне хранящего верность некоему вечному темному антагонисту всемогущего Бога. В него должны быть включены философские противоположности Кузанца и моральная неоднозначность Бёме. Лишь таким образом бог может сохранить целостность и единство. Ведь природа символов такова, что они способны соединять противоположности, чтобы те не противоречили друг другу, а, напротив, дополняли одна другую и придавали жизни смысл, поэтому неоднозначность представлений о Боге Природе и Боге Творце уже не выглядит столь затруднительной. Более того, миф о неизбежном вочеловечивании Бога, составляющий основу христианского учения, теперь может быть истолкован как творческая борьба противоположностей в человеке, их синтез в самости, индивидуальной целостности. Неизбежная противоречивость образа Бога Творца снимается в единстве самости как *unio mystica*. В сознании личности присутствует уже не прежняя оппозиция «Бог – человек» – она преодолена, противоречия заключены в самом Богообразе. И это станет смыслом «богослужения» – свет, возникающий из тьмы, Творец, осознающий свое творение, и человек, осознающий самого себя.

Это та цель или одна из тех целей, что с умыслом назначена человеку творением, заключающая в себе этот умысел. Это и есть все объясняющий миф, который многие годы я создавал для себя. Это цель, которую я могу познать, я считаю ее достойной, она удовлетворяет меня. Благодаря своему рефлектирующему сознанию человек возвышается над животным миром, и это подтверждает, что природа в высшей степени поощряет именно развитие сознания. Сознание позволило человеку сделаться властелином природы, и, познавая бытие мира, он утверждает Творца. Мир – это некий феномен, который не существует без сознательной рефлексии. Если бы Творец сознавал самого себя, зачем ему тогда сознательное творение; к тому же сомнительно, чтобы крайне сложные и обходные пути созидания, требующие миллионы лет на развитие бесконечного числа видов и тварей, явились продуктом целенаправленных действий. Естественная история говорит нам о развитии случайному и неслучайному, направленном на уничтожение себя и других в течение необозримого времени. Буквально о том же самом свидетельствует биологическая и политическая история человечества. Но история духа – это нечто совершенно иное. Здесь нас потрясает чудо мыслящего сознания – вторая космогония. Значение его столь велико, что невозможно не предположить, что где-то среди чудовищного и очевидно бессмысленного биологического механизма присутствует какой-то элемент осмыслинности. Ведь в конечном счете путь к его проявлению был обнаружен на уровне теплокровных – обнаружен как будто случайно, непреднамеренный и непредвиденный, но все же в каком-то «смутном порыве», в предчувствии и предошущении, – осмысленный.

* * *

Я вовсе не утверждаю, что мои размышления о сущности человека и его мифа – последнее и окончательное слово, но, на мой взгляд, это именно то, что может быть сказано в конце нашей эры – эры Рыб, а возможно, и в преддверии близящейся эры Водолея, который имеет человеческий облик.

Он в своем роде souverain, содержимое своего кувшина он отправляет в рот *Piscis austrinus*, выполняющих роль дочернюю, бессознательную. По окончании этой более чем двухсотлетней эры наступит следующая, обозначенная символом *Capricornus* (чудища, соединяющего в себе черты козы и рыбы, горы и моря, антиномии, созданной из элементов двух животных). Это странное порождение легко принять за прообраз Бога Творца, который противоположен «человеку» – антропосу. Но здесь я умолкаю: соответствующего эмпирического материала, то есть известных мне образов из бессознательного других людей

или исторических документов у меня просто нет. А поскольку нет, то любые умозрительные спекуляции бессмысленны. Они уместны лишь тогда, когда мы располагаем объективными данными, подобными тем, что имеем в случае с Водолеем.

Нам неизвестно, как далеко может заходить процесс самоосознания и куда он приведет человека. Это новый элемент в истории творения, не имеющий аналогов, и нам не дано узнать его свойства: возможно ли, чтобы *species homo sapiens* постигла судьба других видов, некогда распространенных на земле, а теперь исчезнувших? У биологии нет средств, чтобы опровергнуть такое предположение.

Потребность в мифологии удовлетворяется постольку, поскольку мы сами формируем собственное мировидение, достаточное для объяснения смысла человеческого существования во Вселенной, – мировидение, истоки которого лежат во взаимодействии сознания и бессознательного. Бессмысленность невозможно совместить с полнотой жизни, это означает болезнь. Смысл многое, если не все, делает терпимым. Никакая наука не сможет заменить миф, и никакая наука мифа не сотворит, поэтому и Бог – не миф, но миф изъясняет Бога в человеке. Не мы измыслили миф, он обращает к нам «слово Божье»; «слово Божье» мы чувствуем, но нам не дано понять, что в нем – от самого Бога. В нем нет ничего неизвестного нам, ничего сверхъестественного, кроме того обстоятельства внезапности, с которой оно приходит к нам и налагает на нас определенные обязательства. Оно не подчинено нашей воле, назвав это вдохновением, мы тоже мало что объясним. Мы знаем, что эта «странная мысль» – вовсе не результат нашего умствования, но явилась извне, «с другой стороны», и, если нам случалось увидеть вещий сон, разве можно приписать его своему разумению? Мы ведь часто даже не знаем, что такое этот сон, – предвидение или некое отдаленное знание?

Это слово входит в нас неожиданно; мы претерпеваем его, поскольку пребываем в глубокой неопределенности: ведь если Бог – некое *complexio oppositorum*, возможно все, что угодно, – в полном смысле слова, – равно возможны истина и ложь, добро и зло. Миф – это нечто двусмысленное или может быть двусмысленным, как сон или дельфийский оракул. Не стоит отвергать доводы рассудка, следует не терять надежду на то, что инстинкт придет к нам на помощь, и тогда Бог будет на нашей стороне, то есть против Бога, как в свое время считал Иов. Всё, в чем выражена «иная воля», исходит от человека – его мысли, его слова, его представления и даже его ограниченность. И человек, как правило, склонен приписывать все именно себе, особенно когда, опираясь на грубые психологические категории, он приходит к мысли, что все исходит от его намерений и от «него самого». С детской наивностью он воображает, что знает все, что можно постичь, и вообще «знает себя». Тем не менее, ему даже в голову не приходит, что слабость его сознания, а отсюда и страх перед бессознательным лишают его способности отделить то, что он выдумал сам, от того, что явилось ему spontанно, из других источников.

Человек не может оценить себя объективно, еще не может рассматривать себя как некое явление, которое предстает перед ним и с которым, *for better or worse*, ему приходится себя идентифицировать. Первоначально все, что с ним происходит, – происходит помимо его воли, и лишь ценой огромных усилий ему удается завоевать и сохранить за собой область относительной свободы.

Тогда и только тогда, уже утвердившись в этом своем завоевании, он способен понять всю глубину своей зависимости от того, что заложено в нем изначально и над чем он не властен. Причем эти его изначальные основания вовсе не остаются в прошлом, а продолжают жить с ним, являясь частью его бытия; его сознание сформировано ими в той же степени, что и окружающим физическим миром.

Всё, что окружает человека вне его самого и что он сам обнаруживает в себе, он сводит воедино в идею божественного, описывая воплощение ее с помощью мифа и объясняя себе затем этот миф как «слово Божье», то есть как внушение и откровение с «той стороны».

«Тайное общество» и энергия сознания

Нет лучшего средства защитить свое хрупкое и столь зыбкое ощущение индивидуальности, чем обладание некой тайной, которую желательно или необходимо сохранить. Уже на самых ранних стадиях социальной истории мы обнаруживаем страсть к тайным организациям. Там, где нет поводов скрывать действительно важные секреты, изыскиваются «тайства», к которым допускаются лишь избранные и «посвященные». Такова история розенкрейцеров, так было и во множестве других случаев. Среди подобных псевдотайн встречаются – по иронии судьбы – настоящие тайны, о которых посвященные вовсе не догадываются. Это случается, к примеру, в обществах, которые изначально заимствовали свои тайны из алхимической традиции.

Потребность в таинственности – неотъемлемое примитивного сознания, поскольку причастность к тайне служит своего рода цементом для общественных отношений. На социальном уровне тайны с успехом компенсируют недостаточность отдельной личности, которая, всегда отделяя себя от других, в то же время вынуждена жить в постоянном поиске своей исходной бессознательной идентичности с другими. Таким образом, исполнение человеком своего предназначения, осознание своей уникальности – результат долгой, почти безнадежной воспитательной работы. Поскольку даже те немногие, кого опыт инициации – причастность к тайне – в каком-то смысле выделяет, в итоге стремятся подчиниться законам групповой идентичности, хотя в этом случае начинает действовать механизм социальной дифференциации.

Тайное общество – некое промежуточное звено на пути к индивидуации. Мне думается, что дифференциация – механизм коллективный, когда мы еще не осознали, что выделить себя из массы окружающих и самостоятельно встать на ноги – задача индивидуальная, единственная в своем роде. Всякого рода коллективная тождественность, например: членство в организациях, приверженность к «измам» и пр., уводит нас в сторону. Это – костьль для хромого, щит для трусливого, постель для ленивого, детские ясли для безответственного – в равной степени убежище для несчастного и слабого. Это – тихая бухта для потерпевшего крушение-лоно семьи для сирот, земля обетованная для разочарованных странников и усталых пилигримов, пастух и надежная ограда для заблудших овец, мать, дающая жизнь и пищу. Поэтому считать это промежуточное звено западней было бы ошибкой. Напротив, она долгое время являлась единственно возможной формой существования личности, хотя сейчас, как никогда прежде, нам угрожает именно обезличение. Могущество коллективной тождественности никто не ставит под сомнение в наши дни, и многие вправе считать ее своей конечной целью. Поэтому любые попытки напомнить человеку о его самоопределении, самосовершенствовании и самостоятельности выглядят дерзкими, ничем не оправданными, вызывающими и просто бессмысленными.

И все же может произойти такое, что у человека по ряду причин возникнет необходимость решиться самостоятельно пойти по пути, уводящем от привычных форм и образов, рамок и покровов, самый дух и образ этой жизни перестанет удовлетворять его. И тогда он пойдет один, и сам станет своим обществом. Он сам будет являть для себя некое множество – множество мнений и тенденций, причем не всегда они будут расположены в одной плоскости. Он действительно окажется не в ладах с самим собой, пытаясь примирить свою множественность с некой общей необходимостью, столкнется с огромными трудностями. Даже если внешне он защищен промежуточными социальными формами, против внутренней множественности он бессилен, и этот внутренний разлад может заставить его смириться, свернуть с пути, сделаться таким, как окружающие.

Как и члены тайных обществ, уклонившиеся от недифференцированной коллективности, личность на своем одиноком пути нуждается в тайне, которую по разным причинам ей нельзя или она не может раскрыть. Такая тайна поддерживает личность в обособленности ее замыслов. Для многих эта обособленность становится непосильной ношей; к таким принадлежат, как правило, невротики, которые поневоле играют в прятки с другими и сами с собой и не способны принять всерьез что бы то ни было. В конце концов

они приносят в жертву эту обособленность в пользу некой общей уравнительности, что безусловно приветствуется окружающими. В этом случае здравый смысл не в состоянии сопротивляться, и лишь тайна, разгласить которую невозможно – страшно или нельзя выразить словами (могут принять за «безумную» идею), – лишь она способна воспрепятствовать неизбежному и остановить деградацию.

* * *

Нередко потребность в такой тайне становится почти непреодолимой, и мы неожиданно для себя оказываемся вовлечеными в идеи и действия, в которых уже не отдаем себе отчета. Дело здесь не в капризе или гордыне, а скорее мы имеем дело с неизъяснимой *dira nécessitas*, которая настигает человека с роковой неизбежностью и, вероятно, впервые в жизни ставит его перед фактом существования чего-то инородного и более могущественного, чем он сам и его «домашний мир», где он представлял себя хозяином.

Характерный пример тому – история Иакова, который отважился на борьбу с ангелом и, потерпев поражение, сумел все же предотвратить убийство. Ветхозаветному Иакову повезло: его истории верят безусловно. Современному «Иакову», вздумай он рассказать подобную историю, его слушатели встретят многозначительными улыбками. Он просто никогда не решится заговорить о подобных вещах, особенно если имеет собственный взгляд на природу этого посланца Яхве. К тому же *nolens-volens* он станет обладателем тайны, обсуждать которую не принято, и тем самым окажется каким-то образом «отмеченным», *reservatio mentalis* будет преследовать его до тех пор, пока он не начнет лицемерить и притворяться.

Однако всякому, кто хочет усидеть на двух стульях, стремится идти своим путем и одновременно следовать неким коллективным установлениям, грозит нервное расстройство. Современному «Иакову» не по силам осознать ту очевидную вещь, что из них двоих ангел был так или иначе сильнее, ведь нет никаких доказательств, что ангел удалился не прихрамывая.

Итак, человек, ведомый своим демоном – своим двуединством, выходит за пределы промежуточной стадии и попадает в глухую неизвестность, где нет проторенных путей и надежного прикрытия, где нет спасительных заповедей, которые приходят на помощь человеку в трудную минуту, когда у него возникнет беспощадный и разрушительный конфликт с долгом. Обычно такие вылазки в «No Mans Land» делятся недолго, и лишь до тех пор, пока не случаются подобные конфликты, но как только атмосфера начнет сгущаться, они мягко сходят на нет. Я не смею осуждать того, кто отступает, но тому, кто ставит себе в заслугу собственную слабость и малодушие, трудно найти оправдание. Кстати, я не думаю, что мое презрение принесет ему хоть какой-то вред, и поэтому считаю себя вправе высказать его.

Тот же, кто, оказавшись в подобной ситуации, на свой страх и риск в одиночку ищет решение и берет на себя всю ответственность за него, кто перед лицом Судьи отмаливает его денно и нощно, тот обрекает себя на полную изоляцию. Иногда он сам себе и упрямый защитник, и беспощадный обвинитель, никакой суд – ни мирской, ни духовный – не способен вернуть ему спокойный сон; в его жизнь входит настоящая тайна, тайна, которую он не разделит ни с кем. Когда б он не был сыт по горло всем этим, он, возможно, не оказался бы в подобной ситуации. Очевидно, для того, чтобы впутаться в нее, необходимо повышенное чувство ответственности. Именно оно не позволяет сбросить свой груз на чужие плечи и согласиться с чужим – коллективным – решением. И суд тогда свершается не «на миру», но в мире внутреннем, и приговор выносится за закрытыми дверями.

Эта перемена наделяет личность каким-то ранее незнакомым смыслом, с этого момента она уже не известное и социально определяемое это, а внутренне противоречивое суждение о том, в чем же собственно ее ценность – для других и для себя самой. Ничто так не действует

на активность самосознания, как эти внутренние конфликты. Здесь обвинение располагает неоспоримыми фактами, и защита вынуждена отыскивать неожиданные и непредвиденные аргументы. И при этом, с одной стороны, мир внутренний берет на себя значительную часть бремени мира внешнего, позволяя последнему избавиться от части своей тяжести. С другой стороны, мир внутренний обретает больший вес, уподобляясь некоему этическому трибуналу. Но главное состоит в том, что это, когда-то четко определенное, отныне перестает быть только прокурором и теперь вынуждено защищаться. Оно становится двусмысленным и расплывчатым, оказываясь между молотом и наковальней, и эта внутренняя противоречивость несет в себе некую сверхупорядоченность.

* * *

Далеко не всякий классический конфликт – вероятно, а скорее всего, никакой – не может быть «разрешен» в самом деле, притом что спорить о нем можно до судного дня. Однажды решение вдруг придет – подобно короткому замыканию. Практически жизнь не может существовать как бесконечно длищийся конфликт. Противоположности и вызываемые ими конфликты не исчезают даже тогда, когда становятся импульсом к действию, они постоянно угрожают единству личности, вновь и вновь опутывая жизнь сетями противоречий.

В подобных ситуациях благоразумнее, наверное, было бы не пускаться во все тяжкие, не покидать надежное укрытие и теплый кокон, оберегая себя тем самым от внутренних потрясений. Те, кого ничто не вынуждает оставить отцовский кров, могут чувствовать себя в полной безопасности. А те немногие, кто оказался выброшен на тот одинокий – окольный – путь, очень скоро познают все недостатки и все прелести человеческой природы.

Исходной точкой любого вида энергии является разность потенциалов, естественно поэтому, что жизнеспособность психической структуры составляет ее внутренняя полярность, что было известно еще Гераклиту. Как теоретически, так и практически она присуща всему живому, и противостоит этой властной силе лишь хрупкое единство этого, которое тысячелетиями удерживается, защищая и ограждая себя от внешних и внутренних столкновений. То, что это единство в принципе стало возможным, связано, видимо, с извечным стремлением противоположностей прийти к равновесию (то же наблюдается в энергетических процессах, возникающих при столкновении тепла и холода, высокого и низкого давления и т. д.). Энергия, лежащая в основе сознательной психической деятельности, предшествует ей и посему, вне всякого сомнения, является бессознательной. По мере того как она превращается в осознанную, она проецируется на некие образы, будь то мана, боги, демоны и пр., чья нуминозность служит источником жизненной силы. Это продолжается до тех пор, пока названные формы мы не признаем за таковые. Но постепенно их очертания размываются, теряют силу, и тогда это, то есть эмпирическая личность, в буквальном смысле овладевает этим источником энергии: с одной стороны, личность стремится использовать эту энергию, что ей даже удается, или, по крайней мере, так ей кажется; с другой же – она сама оказывается в ее власти.

Сия гротескная ситуация складывается тогда, когда мы принимаем во внимание только сознание и считаем его единственной формой психического бытия. В этом случае так называемая инфляция, то есть обратная проекция, неизбежна. Если же мы учтываем существование некой бессознательной души, содержимое такой проекции может быть воспринято на уровне предваряющих сознание врожденных инстинктов. Тогда они сохраняют свою объективность и автономность, и инфляции не происходит. Архетипы, которые, предваряя сознание, определяют его, реально проявляются там, где они существенны – то есть как априорные структурные формы на инстинктивном уровне. Их следует воспринимать не как вещь в себе, а лишь как доступную для восприятия форму вещи. Разумеется, не только архетипы определяют специфическую природу восприятия, они лишь колективный его компонент. Но как нечто инстинктивное, они соответствуют

динамической природе инстинкта, а следовательно располагают особой энергией, которая вызывает или подчиняет себе определенные импульсы или модели поведения; иными словами при некоторых обстоятельствах они обладают властью (numinозум!). Таким образом, понятие о них как о своего рода *daimonia* вполне соответствует их природе.

Тот, кто думает, что подобные формулировки могут что-либо изменить в природе вещей, слишком верит в силу слов. Реальные вещи не меняются от того, что мы даем им разные имена, это имеет значение только для нас самих. Если кто-то воспринимает «Бога» как «абсолютное ничто», это вовсе не отменяет существования высшего организующего принципа; мы распоряжаемся собой так, как и прежде, изменение имен не в состоянии что-либо отменить в действительности, но оно способствует формированию у нас некой отрицательной установки. Наименование же чего-либо ранее неизвестного, напротив, является положительной интенцией. Таким образом, рассуждая о «Боге» как об «архетипе», мы ничего не говорим о его реальной природе, но допускаем, что «Бог» – это нечто в нашей психической структуре, что было прежде сознания, и поэтому Его никоим образом невозможно считать порожденным сознанием. Тем самым мы не уменьшаем вероятности Его существования, но приближаемся к возможности Его познать. Последнее обстоятельство крайне важно, поскольку вещь, если она не постигается опытом, легко отнести к разряду несуществующих. Такую возможность, конечно, не могли упустить так называемые верующие, которые видят в моей попытке воссоздать изначальную бессознательную психическую структуру только атеизм или, на худой конец, гностицизм, и никогда – психическую реальность, то есть бессознательное.

* * *

Если бессознательное в принципе существует, оно должно включать в себя предшествующую эволюцию нашей сознательной души. В конце концов представление о том, что человек во всем своем блеске был создан на шестой день творения – сразу, без каких-либо предварительных стадий, – такое представление слишком примитивно и архаично, чтобы удовлетворять нас сегодня. Но во всем, что имеет отношение к душе, мы продолжаем упорно ей следовать; нам удобнее считать, что душа не имеет предпосылок, что это *tabula rasa*, что она всякий раз вновь появляется при рождении и что она лишь то, чем сама себя представляет.

И в филогенезе, и в онтогенезе сознание вторично – и эту очевидность пора, наконец, признать. Так же, как тело имеет свою анатомическую предысторию, исчисляемую миллионами лет, так и психическая система, как всякая часть человеческого организма, является результатом такой эволюции, повсюду обнаруживая следы более ранних стадий своего развития. Как сознание начинало свою эволюцию с бессознательного животного состояния, так проходит этот процесс дифференциации каждый ребенок. Предсознательное состояние психики ребенка – это все, что угодно, только не *tabula rasa*; его психическая структура уже включает осознаваемые индивидуальные проформы и все специфические человеческие инстинкты, а кроме того, она обнаруживает априорные основания высших функций.



Даная. Художник Густав Климт.

На этих сложных основаниях это развивается, опираясь на них в течение всей жизни. Если же они перестают функционировать, следует холостой ход, а затем смерть. Их реальность слишком многое определяет в нашей жизни. В сравнении с ними даже внешний мир вторичен – зачем он нужен, если отсутствует эндогенный инстинкт, отвечающий за восприятие? Всем, наконец, известно, что никакая сознательная воля не может вытеснить инстинкт самосохранения. Этот инстинкт рождается в виде некой принудительной силы или воли, или приказа, и если – как это в той или иной степени происходило с незапамятных времен – мы присваиваем ему имя какого-то демона, мы, по крайней мере, точно отражаем психологическую ситуацию. Когда мы с помощью понятия архетипа пытаемся чуть точнее определить момент, когда этот демон завладел нами, мы ничего не отменяем, а лишь становимся ближе к источнику жизненной энергии.

* * *

Все свидетельства – любые, вызванные нашим воображением, – подсказаны нам психикой. Последняя выступает как некий динамический процесс, основой которого служит полярность, напряжение между двумя полюсами. «Не следует умножать число универсалий!» А поскольку энергетическая теория в качестве универсальной принята в естественных науках, мы попробуем ограничиться ею и в психологии. Ничего другого, похожего на иное объяснение, просто нет, более того, полярная природа психики и ее содержание находят подтверждение и в психологическом опыте.

Если энергетическая концепция психики верна, то противоречащие ей предположения, как, например, представление о некой метафизической реальности, должны казаться, мягко

выражаясь, парадоксальными.

Психика не может выйти из себя так же, как не может постулировать какие бы то ни было абсолютные истины, поскольку именно в ее полярности заложена их относительность. Когда психика провозглашает абсолютную истину, например, «Абсолют есть движение» или «Абсолют есть нечто единичное», она неизбежно попадается на одном из своих противоречий. Ведь с равным успехом можно утверждать: «Абсолют – это покой», или: «Абсолют суть все». Как только психика выбирает одну сторону, она разрушается и теряет способность к познанию. Вследствие невозможности рефлексии она превращается в некую последовательность состояний, каждое из которых стремится занять главенствующее место, так как других не учитывает (или пока не учитывает).

Все сказанное выше, конечно, не отменяет оценочной шкалы, а лишь подтверждает ту очевидную вещь, что границы размыты, что «все течет», наконец. За тезисом следует антитезис, а синтез возникает уже как нечто третье, ранее непредусмотренное – то есть психика лишний раз подчеркивает свою полярную природу, на самом деле ни в чем не выходя за свои границы.

В попытке определить границы психического я ни в коем случае не пытаюсь ограничить все одной лишь психикой. Но если имеются в виду восприятие или познание, выйти за ее пределы нам не удается. Наука, безусловно, признает существование некоего непсихического, трансцендентного объекта, но трудности в постижении реальной природы этого объекта для нее тоже не тайна, особенно если соответствующие органы чувств или не в состоянии реагировать на это, или вообще отсутствуют, а необходимый тип мышления не выработан. В случаях, когда ни наши органы чувств, ни соответствующие искусственные вспомогательные инструменты доказать наличие реального объекта не могут, возникает та чудовищная трудность, суть которой заключается в искушении объявит реальный объект несуществующим вовсе. Подобные, более чем скоропалительные выводы меня никогда не удовлетворяли, потому что я никогда не утверждал, что мы способны постичь все формы бытия. Потому я осмеливаюсь заявить, что феномен архетипических структур, каковые представляют собой психические явления (и только), – опирается на психоидную основу, то есть на в какой-то мере психическую, но, вероятно, совсем иную форму бытия. За недостатком эмпирических данных я не обладаю ни знанием, ни пониманием этих форм, называемых обычно «духовными», с наукой это никак не соотносится, но я в это верю. И здесь я вынужден признать свое невежество.

Но я реально испытывал воздействие архетипов, для меня они действительны даже тогда, когда я не знаю их реальной природы. Это я отношу не только к архетипам, но к природе души в целом. Что бы она сама о себе ни заявляла, за свои пределы ей никогда не выйти. Постижение само по себе факт психический, и в этом смысле мы жестко ограничены исключительно психическим миром. Тем не менее есть все основания предполагать, что за этой завесой существует некий непознанный, но действительный объект, по крайней мере, в случаях с психическими явлениями, где нельзя ничего утверждать. Суждения о возможности или невозможности правомерны лишь в специальных областях, вне их это лишь произвольные допущения.

И хотя брать некие положения с потолка, то есть без достаточных на то оснований, не принято, тем не менее существуют утверждения, которые все же должны приниматься без учета объективных причин. Это касается, например, оснований психодинамики, обыкновенно выражаемых субъективно и рассматриваемых в каждом случае отдельно. Ошибка здесь коренится в невозможности определить, исходит ли утверждение от конкретного субъекта, руководствуясь исключительно личными мотивами, или же оно носит общий характер и возникает как некий совокупный динамический паттерн. В последнем случае его следует рассматривать не как нечто субъективное, а как нечто психологически объективное, поскольку огромное количество индивидуумов по своему внутреннему побуждению пришли к такому же выводу или осознали необходимость определенного мировоззрения. Поскольку архетип является не пассивной формой, а

реальной силой, видом энергии, его можно рассматривать как *causa efficiens* подобных утверждений и считать субъектом таковых. Короче, такие утверждения исходят не от конкретного человека, а от архетипа. Если же их не принимают во внимание, то, как учит нас житейский опыт и как подтверждает медицинская практика, это приводит к серьезным нарушениям психики. В индивидуальных случаях мы имеем дело с невротическими симптомами, у людей же, не склонных к неврозам, возникают коллективные мани.

В основе архетипических утверждений лежат инстинктивные предпосылки, не имеющие никакого отношения к разуму, – их невозможно ни доказать, ни опровергнуть с помощью здравого смысла. Они всегда представляли собой некую часть миропорядка – *representations collectives*, по определению Леви-Брюля. Безусловно, это и его воля играют огромную роль, но то, чего хочет это, непостижимым образом перечеркивает автономность и нуминозность архетипических процессов. Область их практического бытия – сфера религии, причем в той степени, в какой религию в принципе можно рассматривать с точки зрения психологии.

«Звезда твоей судьбы»

Гипотеза о существовании коллективного бессознательного принадлежит к числу тех научных идей, которые поначалу остаются чуждыми публике, но затем быстро превращаются в хорошо ей известные и даже популярные. Примерно то же самое произошло и с более емким и широким понятием «бессознательного». После того как философская идея бессознательного, которую разрабатывали преимущественно Г. Карус и Э. фон Гартман, не оставив заметного следа, пошла ко дну, захлестнутая волной моды на материализм и эмпиризм, эта идея по прошествии времени вновь стала появляться на поверхности и прежде всего в медицинской психологии научной ориентации. При этом на первых порах понятие «бессознательного» использовалось для обозначения только таких состояний, которые характеризуются наличием вытесненных или забытых содержаний.

Хотя у Фрейда понятие «бессознательного» выступает, по крайней мере, метафорически – в качестве действующего субъекта, по сути, оно остается не чем иным, как местом скопления именно вытесненных содержаний; и только поэтому за ним признается практическое значение. Ясно, что с этой точки зрения бессознательное имеет исключительно личностную природу, хотя, с другой стороны, уже Фрейд понимал архаико-мифологический характер бессознательного способа мышления.

Конечно, поверхностный слой бессознательного является в известной степени личностным. Мы называем его личностным бессознательным. Однако этот слой покоится на другом, более глубоком, ведущем свое происхождение уже не из личного опыта. Этот врожденный более глубокий слой и является так называемым коллективным бессознательным. Я выбрал термин «коллективное», поскольку речь идет о бессознательном, имеющем не индивидуальную, а всеобщую природу. Это означает, что она включает в себя, в противоположность личностной душе, содержания и образы поведения, которые являются повсюду у всех индивидуумов одними и теми же. Другими словами, коллективное бессознательное идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основательное идентично у всех людей, и образует тем самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе сверхличным.

Существование чего-либо в нашей душе признается только в том случае, если в ней присутствуют так или иначе сознаваемые содержания. Мы можем говорить о бессознательном лишь в той мере, в какой способны удостовериться в наличии таких содержаний. В личном бессознательном это по большей части так называемые эмоционально окрашенные комплексы, образующие интимную душевную жизнь личности. Содержаниями коллективного бессознательного являются так называемые архетипы.

Выражение «архетип» встречается уже у Филона Иудея по отношению к бессознательному в человеке. Также и у Иринея, где говорится: «Творец мира не из самого

себя создал это, он перенес из посторонних ему архетипов». В Библии Бог называется «Изначальный свет». Хотя у Августина слово «архетип» и не встречается, его заменяет «идея»: «Идеи, которые сами не созданы, которые содержатся в божественном уме». «Архетип» – это пояснительное описание платоновского понятия идеи. Это наименование является верным и полезным для наших целей, поскольку оно значит, что, говоря о содержании коллективного бессознательного, мы имеем дело с древнейшими, лучше сказать, изначальными типами, то есть испокон веку наличными всеобщими образами. Речь практически идет все о том же: примитивные родоплеменные учения имеют дело с видоизмененными архетипами. Правда, это уже не содержания коллективного бессознательного, они успели приобрести сознаваемые формы, которые передаются с помощью традиционного обучения в основном в виде тайных учений, являющихся вообще типичным способом передачи коллективных содержаний, берущих начало в бессознательном.

Другим хорошо известным выражением архетипов являются мифы и сказки. Но здесь речь идет о специфических формах, передаваемых на протяжении долгого времени. Понятие «архетип» обозначает только ту часть психического содержания, которая не прошла какой-либо сознательной обработки и представляет собой еще только непосредственную психическую данность. Архетип как таковой существенно отличается от исторически ставших или переработанных форм. На высших уровнях тайных учений архетипы предстают в такой оправе, которая, как правило, безошибочно указывает на влияние сознательной их переработки в суждениях и оценках. Непосредственные проявления архетипов, с которыми мы встречаемся в сновидениях и видениях, напротив, значительно более индивидуальны, непонятны и наивны, нежели, скажем, мифы. По существу архетип представляет собой то бессознательное содержание, которое изменяется, становясь сознательным и воспринятым; оно претерпевает изменения под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает.

* * *

То, что подразумевается под «архетипом», проясняется через его соотнесение с мифом, тайным учением, сказкой. Более сложным оказывается положение, если мы попытаемся психологически обосновать, что такое «архетип».

До сих пор при исследовании мифов удовлетворялись солярными, лунарными, метеорологическими и другими вспомогательными представлениями. Практически не обращалось внимания на то, что мифы в первую очередь психические явления, выражающие глубинную суть души. Дикарь не склонен к объективному объяснению самых очевидных вещей. Напротив, он постоянно испытывает потребность или, лучше сказать, в его душе имеется непреодолимое стремление приспособливать весь внешний опыт к душевным событиям. Дикарю недостаточно просто видеть, как встает и заходит Солнце, – эти наблюдения внешнего мира должны одновременно быть психическими событиями, то есть метаморфозы Солнца должны представлять судьбу Бога или героя, обитающего, по сути дела, в самой человеческой душе. Все мифологизированные естественные процессы – такие, как лето и зима, новолуние, дождливое время года и т. п., – не столько аллегория самих объективных явлений, сколько символические выражения внутренней и бессознательной драмы души. Она улавливается человеческим сознанием через проекции, т. е. будучи отраженной в зеркале природных событий. Такое проецирование лежит у самых оснований, а потому потребовалось несколько тысячелетий истории культуры, чтобы хоть как-то отделить проекцию от внешнего объекта. Тот, кто еще верит сегодня или уверовал заново в астрологию, почти всегда возвращается к древним предрассудкам о влиянии созвездий. Но каждому, кто способен исчислить гороскоп, должно быть известно, что во времена Гиппарха Александрийского день весеннего равноденствия был установлен в Овне. Тем самым любой гороскоп основывается на произвольно выбранном знаке Зодиака, так как со времен

Гиппарха весенне равноденствие сместилось в силу прецессии, по меньшей мере, к началу Рыб.

Субъективность первобытного человека столь удивительна, что самым первым предположением должно было бы быть выведение мифов из его душевной жизни. Познание природы сводится для него, по существу, к языку и внешним проявлениям бессознательных душевных процессов. Их бессознательность представляет собой причину того, что при объяснении мифов обращались к чему угодно, только не к душе. Недоступным пониманию было то, что душа содержит в себе все те образы, из которых ведут свое происхождение мифы, что наше бессознательное является действующим. Оно ведет пассивное существование и является претерпевающим действия субъектом, драму которого первобытный человек по аналогии обнаруживал в больших и малых природных процессах.

«В твоей груди звезды твоей судьбы», – говорит Зени Валленштейну, чем и довольствовалась вся астрология, когда лишь немногие знали об этой тайне сердца. Тогда не было достаточного ее понимания, и я не решусь утверждать, что и сегодня что-либо принципиально изменилось в лучшую сторону.

* * *

Родоплеменные учения священно-опасны. Все тайные учения пытаются уловить невидимые душевые события, и все они претендуют на высший авторитет. Это еще в большей мере верно по отношению к господствующим мировым религиям. Они содержат изначально тайное сокровенное знание и выражают тайны души с помощью величественных образов. Их храмы и священные писания возвещают в образе и слове освященные древностью учения, сочетающие в себе одновременно религиозное чувство, созерцание и мысль. Необходимо отметить, что чем прекраснее, грандиознее, обширнее становится этот передаваемый традицией образ, тем дальше он от индивидуального опыта. Что-то еще чувствуется, воспринимается нами, но изначальный опыт потерян...

Почему психология является самой молодой опытной наукой? Почему бессознательное не было давно уже открыто, а его сокровища представляли только в виде этих вечных образов? Именно потому, что для всего душевного имеются религиозные формулы, причем намного более прекрасные и всеохватывающие, чем непосредственный опыт. Если для многих христианское миросозерцание поблекло, то сокровищницы символов Востока все еще полны чудес. Любопытство и желание получить новые наряды уже приблизили нас к ним, причем эти образы, будь они христианскими, буддистскими или еще какими-нибудь, являются прекрасными, таинственными, пророческими. Конечно, чем привычнее они для нас, чем более они стерты повседневным употреблением, тем чаще от них остается банальная внешняя сторона и почти лишенная смысла парадоксальность. Таинство непорочного зачатия, единосущность Отца и Сына или Троицы, не являющаяся просто триадой, не окрыляют более философскую фантазию. Они стали просто предметом веры. Неудивительно потому, что религиозная потребность, стремление к осмыслению веры, философская спекуляция влекут образованных европейцев к восточной символике, к грандиозным истолкованиям божественного в Индии и к безднам философии даосов Китая. Подобным образом чувство и дух античного человека были захвачены в свое время христианскими идеями. И сейчас немало тех, кто поначалу поддается влиянию христианских символов, пока у них не вырабатывается кьеркегоровский невроз. Или же их отношение к Богу вследствие нарастающего обеднения символики сводится к обостренному до невозможности отношению «Я-Ты», чтобы затем не устоять перед соблазном волшебной свежести необычайных восточных символов. Искушение такого рода не обязательно оканчивается провалом, но может привести к открытости и жизненности религиозного восприятия.

Мы наблюдаем нечто сходное у образованных представителей Востока, которые нередко выказывают завидное понимание христианских символов и столь неадекватной

восточному духу европейской науки. Тяга к вечным образам нормальна, для того они и существуют. Они должны привлекать, убеждать, очаровывать, потрясать. Они созданы из материала откровения и отображают первоначальный опыт божества. Они открывают человеку путь к пониманию божественного и одновременно предохраняют от непосредственного с ним соприкосновения. Благодаря тысячелетним усилиям человеческого духа эти образы уложены во все охватывающую систему мыслей, стремящуюся найти порядок в мире, но эти образы представляются в то же самое время в виде могущественного, обширного, издревле почитаемого института, каковым является Церковь.

* * *

Лучше всего можно проиллюстрировать это на примере одного швейцарского мистика и затворника, недавно канонизированного брата Николая из Флюэ, важнейшим переживанием которого было так называемое видение троичности. Оно настолько занимало его, что было изображено им, по его просьбе, другом на стене кельи. В приходской церкви Заксельна сохранилось изображение видения, созданное тогдашним художником.

Это разделенная на шесть частей мандала, в центре которой находится коронованный нерукотворный образ. Нам известно, что брат Николай пытался показать сущность своего видения с помощью иллюстрированной книжки какого-то немецкого мистика и неустанно трудился над тем, чтобы придать своему первопереживанию удобопонимаемую форму. На протяжении многих лет он занимался именно тем, что я называю переработкой символа. На размышления брата Николая о сущности видения повлияли мистические диаграммы его духовных руководителей. Поэтому он пришел к выводу, что он, должно быть, увидел саму святую Троицу, саму вечную любовь. Такому истолкованию соответствует и вышеуказанное изображение в Заксельне.

Первопереживание брата Николая, однако, было совсем иным. Он был настолько восхищен им, что сам вид его стал страшен окружающим: изменилось его лицо, да так, что от него стали отшатываться, его стали бояться. Увиденное им обладало невероятной интенсивностью. Об этом пишет Вёльфлин: «Все приходившие к нему с первого взгляда преисполнялись жуткого страха. О причине этого страха он сам говорил, что видел пронизывающий свет, представленный человеческим лицом. Видение было столь устрашающим, что он боялся, как бы сердце не разорвалось на мельчайшие части. Поэтому-то у него, оглушенного ужасом и поверженного на землю, изменился и собственный вид, и стал он для других страшен».

Были все основания для установления связи между этим видением и апокалиптическим образом Христа (Апок., 1:13), который по своей жуткой необычности превзойден лишь чудовищным семиглазым агнцем с семью рогами (Апок., 5:6).

Видение брата Николая уже в его время стало истолковываться особым образом. В 1508 г. гуманист Карл Бовиллиус писал своему другу: «Я хотел бы исправить тот лик, который привиделся ему на небе в звездную ночь, когда он предавался молитве и созерцанию. А именно – человеческий лик с устрашающим видом, полным гнева и угрозы» и т. д. Это истолкование вполне соответствует современной амплификации, приведенной в Новом Завете (Апок., 1:13). (Не нужно забывать и о других видениях Николая, например, Христа в медвежьей шкуре, Господа и его жены с братом Николаем как сыном и т. п. В значительной своей части они показывают столь же далекие от догматики черты).

С этим великим видением традиционно связывается образ Троицы в заксельнской церкви, а также символ круга в так называемом «Трактате паломника»: брат Николай показал навестившему его паломнику этот образ. Бланке полагает, вопреки традиции, что между видением и образом Троицы нет никакой связи. Мне кажется, что в данном случае скептицизм заходит слишком далеко. Интерес брата к образу круга должен был иметь основания. Подобные видения часто вызывают смятение и расстройство, сердце при этом «разрывается на части».

Опыт учит, что «оберегающий круг», мандала, издавна является средством против хаотических состояний духа.

Вполне понятно поэтому, что брат был очарован символом круга. Но истолкование ужасного видения как богооткровенного не должно было им отвергаться. Связь видения и образа Троицы в Заксельне с символом круга кажется мне весьма вероятной, если исходить из внутренних психологических оснований.

Видение было, несомненно, возбуждающим страх, вулканическим. Оно прорвалось в религиозное миросозерцание брата Николая без догматического введения и без экзегетического комментария. Естественно, оно потребовало длительной работы для ассилияции, чтобы привести в порядок душу и видение мира в целом, восстановить нарушенное равновесие. Это переживание истолковывалось на основе непоколебимой в то время догматики, которая доказала свою способность к ассилияции. Страшная жизненность видения была преобразована в прекрасную наглядность идеи Троицы. Не будь этого догматического основания, последствия видения с его жуткой фактичностью могли бы быть совсем иными. Вероятно, они привели бы кискажению христианских представлений о Боге и нанесли величайший вред самому брату Николаю, которого признали бы тогда не святым, а еретиком (если не психическим больным), и вся его жизнь, возможно, закончилась бы крушением.

Данный пример показывает полезность догматических символов. С их помощью поддаются формулировке столь же могущественные, сколь и опасные душевые переживания, которые из-за их всевластности вполне можно назвать «богооткровенными». Символу дают пережитую форму и способ вхождения в мир человечески ограниченногопонимания, не искажая при этом его сущности, без ущерба для его высшей значимости. Лик гнева Божьего (его можно встретить у Яакова Бёме) плохо сочетается с новозаветным Богом – любящим Отцом Небесным. Видение могло легко стать источником внутреннего конфликта.

Нечто подобное присутствовало в самом духе времени конца XV века. Вскоре после этого у многих заново рождавшихся в протестантизме происходит столкновение с переживанием яхвистического Бога. Яхве – это божество, содержащееся в котором противоположности еще не отделились друг от друга.

* * *

Брат Николай обладал определенными навыками и опытом медитации, он оставил дом и семью, долго жил в одиночестве, глубоко заглянул в то темное зеркало, в котором отразился чудесный и страшный смысл изначального. Развивавшийся на протяжении многих тысячелетий догматический образ божества в этой ситуации сработал как спасительное лекарство. Он помог ему ассилировать фатальный прорыв архетипического образа и тем самым избежнуть разрушения его собственной души.

Ангелус Силезиус был не настолько удачлив: его раздирали внутренние контрасты, ибо к его времени гарантированная догматами крепость Церкви была уже поколеблена.

Якубу Бёме Бог был известен и как «пламя гнева», и как истинно сокровенный свет. Но ему удалось соединить глубинные противоположности с помощью христианской формулы «Отец-Сын», включив в нее свое гностическое, но в основных пунктах все же христианское мировоззрение. Иначе он стал бы дуалистом. Кроме того, ему на помощь пришла алхимия, в которой уже издавна подготавливалось соединение противоположностей. Но все же не зря у него изображающая божество мандала (приведена в «Сорока вопросах о душе») содержит отчетливые следы дуализма. Они состоят из темной и светлой частей, причем соответствующие полусфера разделяются вместо того, чтобы сходиться.

Формулируя коллективное бессознательное, догмат замещает его в сознании. Поэтому католическая форма жизни в принципе не знает психологической проблематики. Жизнь коллективного бессознательного преднаходится в догматических архетипических представлениях и безостановочно протекает в ритуалах и символике Кredo. Жизнь

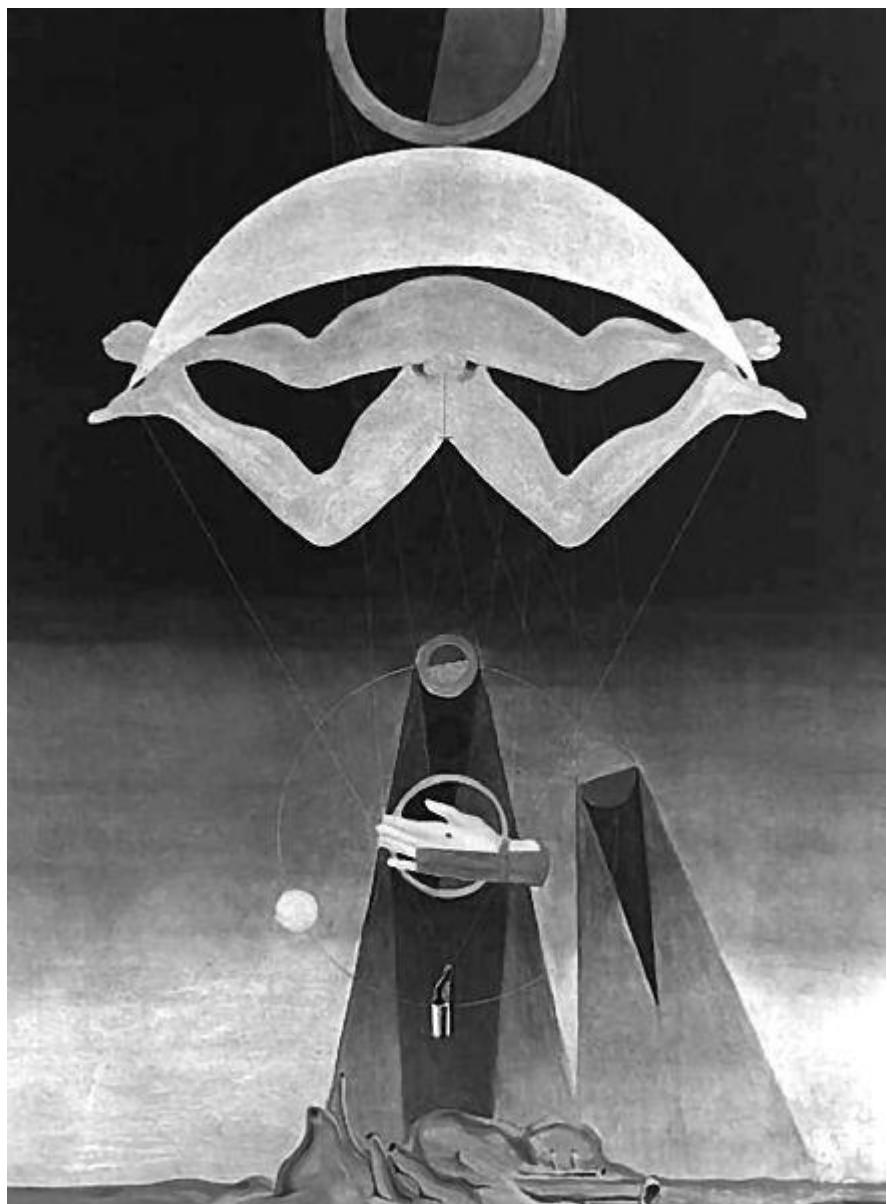
коллективного бессознательного открывается во внутреннем мире католической души. Коллективное бессознательное, каким мы знаем его сегодня, ранее вообще никогда не было психологическим. До христианской Церкви существовали античные мистерии, а они восходят к седой древности неолита. У человечества никогда не было недостатка в могущественных образах, которые были магической защитой, стеной против жуткой жизненности, таящейся в глубинах души. Бессознательные формы всегда получали выражение в защитных и целительных образах и тем самым выносились в лежащее за пределами души космическое пространство.

Предпринятый Реформацией штурм образов буквально пробил брешь в защитной стене священных символов. С тех пор они рушатся один за другим. Они сталкиваются и отвергаются пробужденным разумом. К тому же их значение давно забыто.

Впрочем, забыто ли? Может быть, вообще никогда не было известно, что они означали, и лишь в Новое время протестантское человечество стало поражаться тому, что ничего не знает о смысле непорочного зачатия, о божественности Христа или о сложности догмата Троичности? Может даже показаться, что эти образы принимались без сомнений и рефлексии, что люди относились к ним так же, как к украшению рождественской елки или крашеным пасхальным яйцам, – совершенно не понимая, что означают эти обычай.

На деле люди как раз потому никогда не задаются вопросом о значении архетипических образов, что эти образы полны смысла. Боги умирают время от времени потому, что люди вдруг обнаруживают, что их боги ничего не значат, сделаны человеческой рукой из дерева и камня и совершенно бесполезны. На самом деле обнаруживается лишь то, что человек раньше никогда не задумывался об этих образах. А когда он начинает о них думать, он прибегает к помощи того, что сам он называет «разумом», но что в действительности представляет собой только сумму его близорукости и предрассудков.

История развития протестантизма является хроникой штурма образов. Одна стена падала за другой. Да и разрушать было не слишком трудно после того, как был подорван авторитет церкви. Большие и малые, всеобщие и единичные образы разбивались один за другим, пока, наконец, не пришла царствующая ныне ужасающая символическая нищета. Тем самым ослабились силы церкви: она превратилась в твердыню без бастионов и казематов, в дом с рухнувшими стенами, в который ворвались все ветры и невзгоды мира. Прискорбное для исторического чувства крушение самого протестантизма, разбившегося на сотни демонстраций, является верным признаком того, что этот тревожный процесс продолжается.



Людям это неведомо. Художник Макс Эрнст

Протестантское человечество вытолкнуто за пределы охранительных стен и оказалось в положении, которое ужаснуло бы любого естественно живущего человека, но просвещенное сознание не желает ничего об этом знать и в результате повсюду ищет то, что утратило в Европе. Изыскиваются образы и формы созерцания, способные действовать, способные успокоить сердце и утолить духовную жажду, – и сокровища находятся на Востоке. Само по себе это не вызывает каких-либо возражений. Никто не принуждал римлян импортировать в виде ширпотреба азиатские культуры. Если бы германские народы не прониклись до глубины души христианством, называемым сегодня «чужеродным», то им легко было бы его отбросить, когда поблек престиж римских легионов. Но христианство осталось, ибо соответствовало имевшимся архетипическим образам. С ходом тысячелетий оно стало таким, что немало удивило бы своего основателя, если бы он был жив; христианство у негров или индейцев дает повод для исторических размышлений. Почему бы Западу действительно не ассимилировать восточные формы? Ведь римляне отправлялись ради посвящения в Элевсин, Самофракию и Египет. В Египет с подобными целями совершались самые настоящие туристические вояжи.

Боги Эллады и Рима гибли от той же самой болезни, что и наши христианские символы. Как и сегодня, люди тогда обнаружили, что ранее совсем не задумывались о своих богах; чужие боги, напротив, обладали нерастраченной сокровенностью. Их имена были

необычными и непонятными, деяния темны, в отличие от хорошо известной скандальной хроники Олимпа. Азиатские символы были не доступны пониманию, а потому не казались банальными в отличие от собственных состарившихся богов. Безоглядное принятие нового и отбрасывание старого не превращались тогда в проблему.

* * *

Является ли это проблемой сегодня? Можем ли мы облечься, как в новое платье, в готовые символы, выросшие на азиатской экзотической почве, пропитанные чужой кровью, воспетые на чуждых языках, вскормленные чужими культурами, развивавшейся по ходу чужой истории? Нищий, нарядившийся в княжеское одеяние, или князь в нищенское?

Конечно, и это возможно, хотя, может быть, в нас самих еще жив наказ – не устраивать маскарад, а шить самим свою одежду. Я убежден в том, что растущая скудность символов не лишена смысла. Подобное развитие обладает внутренней последовательностью. Теряется все то, о чем не задумывались, что не вступает в осмысленное отношение с развивающимся сознанием. Тот, кто сегодня пытается прикрыть собственную наготу роскошью восточных одежд, просто не верен своей истории. Сначала приложили все усилия, чтобы стать нищими изнутри, а потом позируют в виде театрального индийского царя. Мне кажется, что лучше признаться в своей собственной духовной нищете и утрате символов, чем претендовать на владение богатствами, законными наследниками которых мы ни в коем случае не являемся.

Нам по праву принадлежит наследство христианской символики, только мы его где-то растеряли. Мы дали пасть построенному нашими отцами дому, а теперь пытаемся влезть в восточные дворцы, о которых наши предки не имели ни малейшего понятия. Тот, кто лишился исторических символов и не способен удовлетвориться «эрзацем», оказывается сегодня в тяжелом положении. Перед ним зияет ничто, от которого он в страхе отворачивается. Хуже того, вакуум заполняется абсурдными политическими и социальными идеями, отличительным признаком которых является духовная опустошенность.

Тот, кто не удовлетворяется школьным всезнайством, вынужден честно признаться, что у него осталось лишь так называемое доверие к Богу. И не без оснований, ибо чем ближе Бог, тем больше кажется опасность. Признаваться в собственной духовной бедности не менее опасно: кто беден, тот полон желаний, а желающий навлекает на себя судьбу. Как верно гласит швейцарская поговорка: «За богатым стоит один дьявол, за бедняком два». Подобно тому как в христианстве обет мирской бедности применим по отношению к благам мира сего, духовная бедность означает отречение от фальшивых богатств духа – не только от скудных остатков великого прошлого, именуемых сегодня «протестантской церковью», но также от всех экзотических соблазнов. Она необходима, чтобы в холодном свете сознания возникла картина оголенного мира. Эту бедность мы унаследовали уже от наших отцов. Мне вспоминается подготовка к конфирмации, которую проводил мой собственный отец. Катехизис был невыразимо скучен. Я перелистал как-то эту книжечку, чтобы найти хоть что-то интересное, и мой взгляд упал на параграфы о троичности. Это заинтересовало меня, и я с нетерпением стал дожидаться, когда мы дойдем на уроках до этого раздела. Когда же пришел этот долгожданный час, мой отец сказал: «Данный раздел пропустим, я тут сам ничего не понимаю». Так была похоронена последняя моя надежда. Хотя я удивился честности моего отца, это не помешало мне с той поры смертельно скучать, слушая все толки о религии.

Наш интеллект неслыханно обогатился вместе с разрушением нашего духовного дома. Мы убедились к настоящему времени, что даже с постройкой самого большого телескопа в Америке мы не откроем за звездными туманностями эмпирей, что наш взгляд обречен на блуждание в мертвой пустыне неизмеримых пространств. Не будет нам лучше и от того, что откроет математическая физика в мире бесконечно малого.

Наконец, мы обращаемся к мудрости всех времен и всех народов и обнаруживаем, что все по-настоящему ценное уже давно было высказано на самом прекрасном языке. Подобно

жадным детям мы протягиваем руку к этим сокровищам мудрости и думаем, что если нам удастся их схватить, то они уже наши. Но мы не способны оценить то, что хватаем, руки устают, а сокровища все время ускользают. Они перед нами, повсюду, насколько хватает глаз. Все богатства превращаются в воду, как у того ученика чародея, которыйтонет в им самим вызванных водах. Ученик чародея придерживается спасительного заблуждения, согласно которому одна мудрость хороша, а другая плоха. Из такого рода учеников выходят беспокойные больные, верующие в собственную пророческую миссию. Искусственное разделение истинной и ложной мудрости ведет к такому напряжению в душе, что из него рождается одиночество и мания, подобные тем, что характерны для морфинистов, мечтающих найти товарищей по пороку.

Когда улетучивается принадлежавшее нам по праву родства наследство, тогда мы можем сказать вместе с Гераклитом, что наш дух спускается со своих огненных высот. Обретая тяжесть, дух превращается в воду, а интеллект с его люциферовской гордыней овладевает престолом духа. Отеческая власть над душой может себе позволить дух, но никак не земнорожденный интеллект, являющийся мечом и молотом в руках человека, но не творцом его духовного мира, отцом души. Это хорошо отмечено Клагесом, решительным было восстановление приоритета духа и у Шелера – оба мыслителя принадлежали к той мировой эпохе, когда дух является уже не свыше, не в виде огня, а пребывает внизу в виде воды. Путь души, ищущей потерянного отца, – подобно Софии, ищущей Бюфос, – ведет к водам, к этому темному зеркалу, лежащему в основании души. Избравший себе в удел духовную бедность (подлинное наследие пережитого до конца протестантизма) вступает на путь, ведущий к водам. Вода – это не прием метафорической речи, но жизненный символ пребывающей во тьме души...

Эльфический дух «Анима»

Бессознательное обычно считают чем-то вроде футляра, в котором заключено интимноличностное, т. е. примерно тем, что Библия называет «сердцем» и что, помимо всего прочего, содержит и все дурные помыслы. В камерах сердца обитают злые духи крови, внезапного гнева и чувственных пристрастий. Так выглядит бессознательное с точки зрения сознания. Но сознание по своей сущности является родом деятельности большого головного мозга; оно раскладывает все на составные части и способно видеть все лишь в индивидуальном обличии. Не исключая и бессознательного, которое трактуется им как «мое бессознательное». Тем самым погружение в бессознательное понимается как спуск в полные влечений теснины эгоцентрической совместности. Мы оказываемся в тупике, хотя думаем, что освобождаемся, занимаясь ловлей всех тех злых зверей, что населяют пещеру подземного мира души.

Тот, кто смотрит в зеркало вод, видит прежде всего собственное отражение. Идущий к самому себе рискует с самим собой встретиться. Зеркало не льстит, оно верно отображает то лицо, которое мы никогда не показываем миру, скрывая его за персоной, за актерской личиной. Зеркало указывает на наше подлинное лицо. Такова проверка мужества на пути вглубь, проба которой достаточна для большинства, чтобы отшатнуться, так как встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным. Обычно все негативное проецируется на других, на внешний мир. Если человек в состоянии увидеть собственную Тень и вынести это знание о ней, задача, хотя и в незначительной части, решена: уловлено, по крайней мере, личностное бессознательное. Тень является жизненной частью личностного существования, она в той или иной форме может переживаться. УстраниТЬ ее безболезненно с помощью доказательств либо разъяснений невозможно. Подойти к переживанию Тени необычайно трудно, так как на первом плане оказывается уже не человек в его целостности; Тень напоминает о его беспомощности и бессилии. Сильные натуры (не стоит ли их назвать скорее слабыми?) не любят таких отображений и выдумывают для себя какие-нибудь героические [образы] «по ту сторону добра и зла», разрубают гордиевы узлы вместо того,

чтобы их развязать. Но раньше или позже результат будет тем же самым. Необходимо ясно осознать: имеются проблемы, которые просто невозможно решить собственными средствами. Такое признание имеет достоинство честности, истинности и действительности, а потому закладывает основание для компенсаторной реакции коллективного бессознательного. Иначе говоря, появляется способность услышать мысль, готовую прийти на помощь, воспринять то, чему ранее не дано было выразиться в слове. Тогда мы начинаем обращать внимание на сновидения, возникающие в такие жизненные моменты, обдумывать события, которые как раз в это время начинают с нами происходить. Если имеется подобная установка, то могут пробудиться и вмешаться силы, которые дремлют в глубинной природе человека и готовы прийти ему на помощь. Беспомощность и слабость являются вечными переживаниями и вечными вопросами человечества, а потому имеется и вечный им ответ, иначе человек давно бы уже исчез с лица земли. Когда уже сделано все, что было возможно, остается нечто сверх того, что можно было бы сделать, если бы было знание. Но много ли знает человек о самом себе? Судя по всему имеющемуся у него опыту, очень немного. Для бессознательного остается вполне достаточно пространства. Молитва требует, как известно, сходной установки, а потому и приводит к соответствующим эффектам. Необходимая реакция коллективного бессознательного выражается в архетипических оформленных представлениях. Встреча с самим собой означает, прежде всего, встречу с собственной Тенью. Это теснина, узкий вход, и тот, кто погружается в глубокий источник, не может оставаться в этой болезненной узости. Необходимо познать самого себя, чтобы тем самым знать, кто ты есть, поэтому за узкой дверью он неожиданно обнаруживает безграничную ширь, неслыханно неопределенную, где нет внутреннего и внешнего, верха и низа, здесь или там, моего и твоего, нет добра и зла. Таков мир вод, в котором свободно возвышается все живое. Здесь начинается царство «Симпатического», души всего живого, где «Я» нераздельно есть и то, и это; где «Я» переживает другого во мне, а другой переживает меня в себе.

* * *

Коллективное бессознательное менее всего [ассоциируется] с закрытой личностной системой, это открытая миру и равная ему по широте объективность. «Я» есть здесь объект всех субъектов, т. е. все полностью перевернуто в сравнении с моим обычным сознанием, где «Я» является субъектом и имеет объекты. Здесь же «Я» находится в самой непосредственной связи со всем миром так, что мне легко забыть, кто же «Я» в действительности. «Я потерял самого себя» – это хорошее выражение для обозначения такого состояния.

Эта Самость является миром или становится таковым, когда его может увидеть какое-нибудь сознание. Для этого необходимо знать, кто ты есть. Едва соприкоснувшись с бессознательным, мы перестаем осознавать самих себя. В этом главная опасность, инстинктивно ощущаемая дикарем, находящимся еще столь близко к этой плероме, от которой он испытывает ужас. Его неуверенное в себе сознание стоит еще на слабых ногах; оно является еще детским, всплывающим из первоначальных вод. Волна бессознательного может легко его захлестнуть, и тогда он забывает себя и делает вещи, в которых не узнает самого себя. Дикии поэтому боятся несдерживаемых аффектов: сознание тогда слишком легко уступает место одержимости.

Все стремления человечества направлялись на укрепление сознания. Этой цели служили ритуалы, догматы; они были плотинами и стенами, воздвигнутыми против опасностей бессознательного. Первобытный ритуал не зря включал в себя изгнание духов, освобождение от чар, предотвращение недобрых предзнаменований, искупление, очищение и аналогичные им магические действия.

С тех древнейших времен воздвигались стены, позднее ставшие фундаментом Церкви. Стены обрушились, когда от старости ослабли символы. Воды поднялись выше, и подобные бушующим волнам катастрофы накатываются на человечество. Религиозный вождь

индейцев Таоспуэблос, именуемый Локо Тененьте [Горное Озеро] Гобернадор, однажды сказал мне: «Американцам стоило бы перестать теснить нашу религию, потому что когда она исчезнет, когда мы больше не сможем помогать нашему Отцу Солнцу двигаться по небу, то и американцы, и весь мир через десять лет увидят, как перестанет всходить Солнце». Это означает, что настанет ночь, погаснет свет сознания, прорвется темное море бессознательного. Первобытное или нет, человечество всегда стоит на граничье с теми вещами, которые действуют самостоятельно и нами не управляемы. Весь мир хочет мира, и все снаряжаются к войне согласно аксиоме: «Если хочешь мира, готовься к войне» – возьмем только один этот пример. Человечество ничего не может поделать с самим собой, и боги, как и прежде, определяют его судьбы...

В нашем сознании мы господа над самими собой: нам кажется, будто мы и есть факторы. Но стоит только шагнуть сквозь дверь Тени, мы с ужасом обнаруживаем, что мы сами есть объект влияния каких-то «факторов». Знать об этом в высшей степени малоприятно: ничто так не разочаровывает, как обнаружение собственной недостаточности. Возникает даже повод для примитивной паники, поскольку пробуждается опасное сомнение относительно тревожно сберегавшейся веры в превосходство сознания. Действительно, сознание было тайной для всех человеческих свершений. Но незнание не укрепляет безопасности, оно, напротив, увеличивает опасность – так что лучше уж знать, несмотря на все страхи, о том, что нам угрожает.

* * *

Правильная постановка вопроса означает наполовину решенную проблему. Самая большая опасность для нас проистекает из необратимости психических реакций. С древнейших времен наиболее рассудительные люди понимали, что любого рода внешние исторические условия лишь повод для действительно грозных опасностей, а именно социально-политических безумий, которые не представляют каузально необходимо следствий внешних условий, но в главном были порождены бессознательным.

Эта проблематика является новой, поскольку во все предшествующие времена люди в той или иной форме верили в богов. Но требовалось беспримерное обеднение символики, чтобы боги стали открываться как психические факторы, а именно как архетипы бессознательного...

С тех пор, как звезды пали с небес и поблекли наши высшие символы, сокровенная жизнь пребывает в бессознательном. Все это было и является излишним для тех времен и культурных форм, которые обладают символами. Тогда это символы горного духа, и дух тогда пребывает свыше. Людям тех времен попытки вживаться в бессознательное или стремление его исследовать показались бы безумными или бессмысленными предприятиями. Для них в бессознательном не было ничего, кроме спокойного и ничем не затронутого господства природы. Но наше бессознательное скрывает живую воду, т. е. ставший природой дух. Тем самым была повреждена и природа. Небеса превратились в физикалистское мировое пространство, а божественный эмпирей стал лишь прекрасным воспоминанием о былом. Наše «но сердце пылает», наše тайное беспокойство глажут корни нашего бытия...

Обращение к бессознательному является для нас жизненно важным вопросом. Речь идет о духовном бытии или небытии. Люди, сталкивающиеся в сновидениях с подобным опытом, знают, что сокровища покоятся в глубинах вод, и стремятся поднять его. Но при этом они никогда не должны забывать, кем они являются, не должны ни при каких обстоятельствах расставаться с сознанием, тем самым они сохраняют точку опоры на земле; они уподобляются, говоря языком притчи, рыбакам, вылавливающим с помощью крючка и сети все то, что плавает в воде.

Глупцы бывают полные и неполные. Есть и такие глупцы, что не понимают действия рыбаков, но уж сами-то они не ошибутся по поводу мирского смысла своей деятельности. Однако ее символика на много столетий старше, чем, скажем, неувядаемая весть о Святом

Граале. Не каждый ловец рыбы является рыбаком. Часто эта фигура предстает на инстинктивном уровне, и тогда ловец оказывается выдрой, как нам это известно, например, по сказкам о выдрах Оскара А.Х. Шмитца.

Смотрящий в воду видит, конечно, собственное лицо, но вскоре на поверхность начинают выходить и живые существа; ими могут быть и рыбы, безвредные обитатели глубин. Но озеро полно призраков, водных существ особого рода. Часто в сети рыбаков попадают русалки, женственные полурыбы-полулюди. Русалки зачаровывают: она наполовину высунулась из воды, он наполовину погрузился, – и больше его не увидели.

Русалки представляют собой еще инстинктивную первую ступень этого колдовского женского существа, которое мы называем Анимой. Известны также сирены, мелюзины, феи, ундины, дочери лесного короля, ламии, суккубы, заманивающие юношей и высасывающие из них жизнь. Морализующие критики сказали бы, что эти фигуры являются проекциями чувственных влечений и предосудительных фантазий. У них есть известное право для подобных утверждений. Но разве это вся правда? Подобные существа появляются в древнейшие времена, когда сумеречное сознание человека еще было вполне пригодным. Духи лесов, полей и вод существовали задолго до появления вопроса о моральной совести. Кроме того, боялись этих существ настолько, что даже их впечатляющие эротические повадки не считались их главной характеристикой. Сознание тогда было намного проще, его владения смехотворно малы. Огромная доля того, что воспринимается нами сегодня как часть нашей собственной психики, жизнерадостно проецировалась дикарем на более широкое поле...

* * *

Откуда у нас смелость называть этот эльфический дух «Анимой»?

Ведь «Анимой» называют душу, обозначая тем самым нечто чудесное и бессмертное. Однако так было не всегда. Не нужно забывать, что это догматическое представление о душе, целью которого является удовлетворение и заклятие чего-то необычайно самодеятельного и жизненного. Немецкое слово «душа» через готическую форму состоит в близком родстве с греческим и означает «подвижный», «переливчатый», нечто вроде бабочки, перелетающей с цветка на цветок, живущей медом и любовью. В гностической типологии душевный человек стоит между духовным [существом] и теми низкими душами, которые должны всю вечность поджариваться в аду. Даже самая безвинная душа некрещеного новорожденного, по крайней мере, лишена видения Бога. Для дикарей душа является магическим дуновением жизни или пламенем. Соответствуют этому и неканонизированные «речения Иисуса»: «Кто приближается ко мне, приближается к огню». По Гераклиту, на высших уровнях душа огненная и сухая.

Жизненна одушевленная сущность. Душа является жизненным началом в человеке, тем, что живет из самого себя и вызывает жизнь. Для того Бог вдувает Адаму дыхание жизни, чтобы он стал душою живой. Своей хитроумной игрою душа приводит к жизни пассивное и совсем к ней не стремящееся вещество. Чтобы возникшая жизнь не исчезла, душа убеждает ее в самых невероятных вещах. Она ставит западни и капканы, чтобы человек пал, спустился на землю, жил на ней и был к ней привязан; уже Ева в раю не могла не уговорить Адама вкусить от запретного плода. Не будь этой переливчатой подвижности души, при всем своем хитроумии и великих стремлениях человек пришел бы к мертвому покою. Своебразная разумность является ее поверенным, своеобразная мораль дает ей благословение. Иметь душу – значит подвергаться риску жизни, ведь душа есть демон-податель жизни, эльфическая игра, которая со всех сторон окружает человека. Поэтому в догмах этот демон наказуется проклятиями и искупается благословениями, далеко выходящими за пределы человечески возможного.

Небеса и ад – вот судьба души, а не человека как гражданско лице, который в своей слабости и тупоумии не представляет себе никакого небесного Иерусалима.

Анима – это не душа догматов, т. е. философское понятие, но природный архетип. Только он способен удовлетворительным образом свести воедино все проявления бессознательного, примитивных духов, историю языка и религию.

Анима – это «фактор» в подлинном смысле этого слова. С нею ничего нельзя поделать; она всегда есть приоритет настроений, реакций, импульсов, всего того, что психически спонтанно. Она живет из самой себя и делает нас живущими. Это жизнь под сознанием, которое не способно ее интегрировать, напротив, оно само всегда проистекает из жизни. Психическая жизнь по большей части бессознательна, охватывает сознание со всех сторон. Если отдавать отчет хотя бы в этом, то очевидна, например, необходимость бессознательной готовности для того, чтобы мы могли узнать то или иное чувственное впечатление.

Может показаться, что в Аниме заключается вся полнота бессознательной душевной жизни, но это лишь один архетип среди многих, даже не самый характерный для бессознательного, один из его аспектов. Это видно уже по его женственной природе. То, что не принадлежит «Я» (а именно мужскому «Я»), является, по всей видимости, женским. Поскольку «не-Я» не принадлежит «Я» и преднаходится как нечто внешнее, то образ Анимы, как правило, проецируется на женщин. Каждому полу внутренне присущи и определенные черты противоположного пола.

Из огромного числа генов мужчины лишь один имеет решающее значение для его мужественности. Небольшое количество женских генов, видимо, образует у него и женский характер, остающийся обычно бессознательным.

Вместе с архетипом Анимы мы вступаем в царство богов, ту сферу, которую оставляет за собой метафизика. Все относящееся к Аниме нуминозно, то есть безусловно значимо, опасно, табуировано, магично. Это змей-искуситель в раю тех безобидных людей, что переполнены благими намерениями и помыслами. Им он предоставляет и самые убедительные основания против занятий бессознательным. Вроде того, что они разрушают моральные предписания и будят те силы, которым лучше было бы оставаться в бессознательном.

Причем нередко в этом есть доля истины хотя бы потому, что жизнь сама по себе не есть благо, она также является и злом. Желая жизни, Анима желает и добра, и зла. В эльфической жизненной сфере такие категории просто отсутствуют. И телесная, и душевная жизнь лишены скромности, обходятся без конвенциональной морали и от этого становятся только более здоровыми. Анима верит в прекрасное и доброе, а это первобытное состояние, возникающее задолго до всех противопоставлений эстетики и морали. Понадобилось длительное христианское дифференцирование для прояснения того, что добро не всегда прекрасно, а красота совсем не обязательно добра. Парадоксальности соотношений этой супружеской пары понятий древние уделяли столь же мало внимания, как и представители первобытного стада.

Анима консервативна, она в целостности сохраняет в себе древнее человечество. Поэтому она охотно выступает в исторических одеждах с особой склонностью к нарядам Греции и Египта...

* * *

Жизнь без смысла и без правил, жизнь, которой никогда не хватает ее собственной полноты, постоянно противостоит страхам и оборонительным линиям человека, упорядоченного цивилизацией. Нельзя не отдать ему должного, так как он не отгораживается от материи всех безумств и всякой трагедии. Живущий на Земле человек, наделенный животным инстинктом самосохранения с самого начала своего существования, находится в борьбе с собственной душой и ее демонизмом. Но слишком просто было бы отнести ее однозначно к миру мрака. К сожалению, это не так, ибо та же Анима может предстать как ангел света, явиться ведущей к высшему смыслу, о чем свидетельствует хотя бы Фауст.

Если истолкование Тени есть дело подмастерья, то прояснение Анимы – дело мастера.

Связь с Анимой является пробой мужества и огненной ордалией для духовных и моральных сил мужчины. Не нужно забывать, что речь идет об Аниме как факте внутренней жизни, а в таком виде она никогда не представляла перед человеком, всегда проецировалась за пределы собственно психической сферы и пребывала вовне.

Для сына в первые годы жизни Анима сливаются с всесильной матерью, что затем накладывает отпечаток на его судьбу. На протяжении всей жизни сохраняется эта сентиментальная связь, которая либо сильно препятствует ему, либо, наоборот, дает мужество для самых смелых деяний.

Античному человеку Анима являлась либо как богиня, либо как ведьма; средневековый человек заменил богиню небесной госпожой или церковью. Десимволизированный мир протестанта привел сначала к нездоровой сентиментальности, а потом к обострению моральных конфликтов, что логически вело к ницшеанскому «по ту сторону добра и зла» именно вследствие непереносимости конфликта.

В цивилизованном мире это положение ведет, помимо всего прочего, к ненадежности семейной жизни. Американский уровень разводов уже достигнут, если не превзойден во многих европейских центрах, а это означает, что Анима обнаруживается преимущественно в проекциях на противоположный пол, отношения с которым становятся магически усложненными. Данная ситуация или по крайней мере ее патологические последствия способствовали возникновению современной психологии в ее фрейдовской форме; она присягает на верность тому мнению, будто основанием всех нарушений является сексуальность: точка зрения, способная лишь обострить уже имеющиеся конфликты. Здесь спутаны причина и следствие. Сексуальные нарушения никоим образом не представляют собой причины невротических кризисов; последние являются одним из патологических последствий плохой сознательности и приспособленности. Сознание сталкивается с ситуацией, с задачами, до которых оно еще не доросло. Оно не понимает того, что его мир изменился, что оно должно себя перенастроить, чтобы вновь приспособиться к миру. «Народ несет печать зимы, она неизъяснима», – гласит перевод надписи на корейской стене.

И в случае Тени, и в случае Анимы недостаточно иметь о них понятийное знание или размышлять о них. Невозможно пережить их содержание через вчувствование или восприятие. Бесполезно заучивать наизусть список названий архетипов. Они являются комплексами переживаний, вступающих в нашу личностную жизнь и воздействующих на нее как судьба. Анима выступает теперь не как богиня, но проявляется то как недоразумение в личностной области, то как наше собственное рискованное предприятие. К примеру, когда старый и заслуженно уважаемый человек, ученый семидесяти лет бросает семью и женится на рыжей двадцатилетней актрисе, то мы знаем, что боги нашли еще одну жертву. Так обнаруживается всесилие демонического в нашем мире – ведь еще не так давно эту молодую даму легко было бы объявить ведьмой...



Триумф смерти. Художник Отто Дикс

Данная нами картина не полна. Она проявляется прежде всего как хаотическое жизненное влечение, но в ней есть и нечто от тайного знания и сокровенной мудрости в достойной удивления противоположности ее иррационально-эльфической природы.

* * *

...Я не зря сначала упомянул об этом весьма характерном аспекте Анимы, поскольку при первой встрече с нею она может показаться всем чем угодно, только не мудростью. Как мудрость она является только тому, кто находится в постоянном общении с нею и в результате тяжкого труда готов признать, что за всей мрачной игрой человеческой судьбы виднеется некий скрытый смысл, соответствующий высшему познанию законов жизни. Даже то, что первоначально выглядело слепой неожиданностью, теряет покров тревожной хаотичности и указывает на глубинный смысл. Чем больше он познан, тем быстрее теряет Анима характер слепого влечения и стремления. На пути хаотичного потока вырастают дамбы; осмысленное отделяется от бессмысленного, а когда они более не идентичны, уменьшается и сила хаоса, смысл теперь вооружается силой осмысленного, бессмыслица силой лишенного смысла. Возникает новый космос. Сказанное является не каким-то новым открытием медицинской психологии, а древнейшей истиной о том, что из полноты

духовного опыта рождается то учение, которое передается из поколения в поколение.

Мудрость и глупость в эльфическом существе не только кажутся одним и тем же, они суть одно и то же, пока представлены одной Анимой. Жизнь и глупа, и наделена смыслом. Если не смеяться над первым и не размышлять над вторым, то жизнь становится банальной. Все тогда приобретает до предела уменьшенный размер: и смысл, и бессмыслица. В сущности, жизнь ничего не означает, пока нет мыслящего человека, который мог бы истолковать ее явления. Объяснить нужно тому, кто не понимает. Значением обладает лишь недостигнутое. Человек пробуждается в мире, которого не понимает, вследствие чего он и стремится его истолковать.

Анима и тем самым жизнь лишены значимости, к ним неприложимы объяснения. Однако у них имеется доступная истолкованию сущность, ибо в любом хаосе есть космос и в любом беспорядке скрытый порядок, во всяком произволе непрерывность закона, так как все сущее покоится на собственной противоположности. Для познания этого требуется разрешающий все в антиномических кругах разум. Обратившись к Аниме, он видит в хаотическом произволе повод для догадок о скрытом порядке, т. е. о сущности, устройстве, смысле. Возникает даже искушение сказать, что он их «постулирует», но это не соответствовало бы истине. Поначалу человек совсем не располагал холодным рассудком, ему не помогали наука и философия, а его традиционные религиозные учения для такой цели пригодны лишь весьма ограниченно. Он запутан и смущен бесконечностью своих переживаний, суждения со всеми их категориями оказываются тут бессильными. Человеческие объяснения отказываются служить, так как переживания возникают по поводу столь бурных жизненных ситуаций, что к ним не подходят никакие истолкования. Это момент крушения, момент погружения к последним глубинам, как верно заметил Апулей, наподобие самопроизвольного ума. Здесь не до искусного выбора подходящих средств; происходит вынужденный отказ от собственных усилий, природное принуждение. Не морально принужденное подчинение и смирение по своей воле, а полное, недвусмысленное поражение, сопровождаемое страхом и деморализацией. Когда рушатся все основания и подпоры, нет ни малейшего укрытия, страховки, только тогда возникает возможность переживания архетипа, ранее скрытого в недоступной истолкованию бессмысленности Анимы. Это архетип смысла, подобно тому, как Анима представляет архетип жизни. Смысл кажется нам чем-то поздним, поскольку мы не без основания считаем, что сами придаем смысл чему-нибудь и с полным правом верим, что огромный мир может существовать и без нашего истолкования.

Но каким образом мы придаем смысл? Откуда мы его в конечном счете берем? Формами придания смысла нам служат исторически возникшие категории, восходящие к туманной древности, в чем обычно не отдают себе отчета. Придавая смысл, мы пользуемся языковыми матрицами, происходящими в свою очередь от первоначальных образов. С какой бы стороны мы ни брались за этот вопрос, в любом случае необходимо обратиться к истории языка и мотивов, а она ведет прямо к первобытному миру чуда. Возьмем для примера слово «идея». Оно восходит к платоновскому понятию, а вечные идеи первообразы – к занебесному месту, в котором пребывают трансцендентные формы. Они предстают перед нашими глазами как восковые изображения предков и лары – духи-хранители домашнего очага в Древнем Риме, или как образы сновидений и откровений.

Возьмем, например, понятие «энергия», означающее физическое событие, и обнаружим, что ранее тем же самым был огонь алхимиков, флогистон, присущая самому веществу теплоносная сила, подобная стоическому первотеплу или гераклитовскому возврению, согласно которому во всем пребывает всеоживляющая сила, сила произрастания и магического исцеления.

* * *

Однако не стоит нагромождать примеры. Достаточно знать, что нет ни одной

существенной идеи либо воззрения без их исторических прообразов. Все они восходят, в конечном счете, к лежащим в основании архетипическим проформам, образы которых возникли в то время, когда сознание еще не думало, а воспринимало. Мысль была объектом внутреннего восприятия, она не думалась, но обнаруживалась в своей явленности, так сказать, виделась и слышалась. Мысль была по существу откровением, не чем-то искомым, а навязанным, убедительным в своей непосредственной данности. Мышление предшествует первобытному «сознанию Я», являясь скорее объектом, нежели субъектом. Последняя вершина сознательности еще не достигнута, и мы имеем дело с предсуществующим мышлением, которое, впрочем, никогда не обнаруживалось как нечто внутреннее, пока человек был защищен символами. На языке сновидений – пока не умер отец или король.

Я хотел бы показать на одном примере, как «думает» и подготавливает решения бессознательное. Речь пойдет о молодом студенте-теологе, которого я лично не знаю. У него были затруднения, связанные с его религиозными убеждениями, и в это время ему приснился следующий сон.

Он стоит перед прекрасным старцем, одетым во все черное. Но знает, что магия у него белая. Маг долго говорит ему о чем-то, спящий уж не может припомнить, о чем именно. Только заключительные слова удержались в памяти: «А для этого нам нужна помошь черного мага». В этот миг открывается дверь и входит очень похожий старец, только одетый в белое. Он говорит белому магу: «Мне необходим твой совет», бросив при этом вопрошающий взгляд на спящего. На что белый маг ответил: «Ты можешь говорить спокойно, на нем нет вины». И тогда черный маг начинает рассказывать свою историю.

Он пришел из далекой страны, в которой произошло нечто чудесное. А именно, земля управлялась старым королем, чувствовавшим приближение собственной смерти. Король стал выбирать себе надгробный памятник. В той земле было много надгробий древних времен, и самое прекрасное было выбрано королем. По преданию, здесь была похоронена девушка. Король приказал открыть могилу, чтобы перенести памятник. Но, когда захороненные останки оказались на поверхности, они вдруг ожили, превратились в черного коня, тут же ускакавшего и растворившегося в пустыне. Он, черный маг, просыпал об этой истории и сразу собрался в путь и пошел по следам коня. Много дней он шел, пересек всю пустыню, дойдя до другого края, где снова начинались луга. Там он обнаружил пасущегося коня и там же совершил находку, по поводу которой он и обращается за советом к белому магу. Ибо он нашел ключи от рая и не знает, что теперь должно случиться. В этот увлекательный момент спящий пробуждается.

В свете вышеизложенного нетрудно разгадать смысл сновидения: старый король является царственным символом. Он хочет отойти к вечному покоя, причем на том месте, где уже погребены сходные «доминанты». Его выбор пал на могилу Анимы, которая, подобно спящей красавице, спит мертвым сном, пока жизнь регулируется законным принципом. Но, когда королю приходит конец, жизнь пробуждается и превращается в черного коня, который еще в платоновской притче служил для изображения несдержанности страстной натуры. Тот, кто следует за конем, приходит в пустыню, то есть в дикую, удаленную от человека землю, образ духовного и морального одиночества. Но где-то там лежат ключи от рая.

Но что же тогда рай? По-видимому, Сад Эдема с его двуликим древом жизни и познания, четырьмя его реками. В христианской редакции это и небесный град Апокалипсиса, который, подобно Саду Эдема, мыслится как мандала. Мандала же является символом индивидуации. Таков же и черный маг, находящий ключи для разрешения обременительных трудностей спящего, связанных с верой. Эти ключи открывают путь к индивидуации. Противоположность пустыне рай также означает другую противоположность: одиночество, индивидуация (или самостановление). Это часть сновидения одновременно является заслуживающей внимания парафразой «речений Иисуса» (в расширенном издании Ханта и Гренфелла), где путь к небесному царству указывается животным и где в виде наставления говорится: «А потому познайте самих себя, ибо вы град,

а град есть царство». Далее встречается парофраза райского змея, соблазнившего прародителя на грех, что в дальнейшем привело к спасению рода человеческого Богом-Сыном. Данная каузальная связь дала повод ойтам отождествить змия с Сотером (Спасителем, избавителем). Черный конь и черный маг являются, и это уж оценка в современном духе, как будто злыми началами. Однако на относительность такого противопоставления добру указывает уже обмен одеяниями. Оба мага являются собой две ипостаси старца, высшего мастера и учителя, архетипа духа, который представляет в хаотичности жизни предшествующей смысл. Он отец души, но она чудесным образом является и его матерью-девой, а потому он именовался алхимиками «древним сыном матери». Черный маг и черный конь соответствуют спуску в темноту... Насколько трудным был урок для юного студента теологии! К счастью для него, он ничего не заметил: ни того, что с ним во сне говорил отец всех пророков, ни того, что он стоял близко к великой тайне. Можно было бы удивиться нецелесообразности этих событий. Зачем такая расточительность? По этому поводу могу сказать только, что мы не знаем, как этот сон воздействовал в дальнейшем на жизнь студента теологии. Но добавлю, что мне он сказал об очень многом и не должен был затеряться, даже если сам сновидец ничего в нем не понял.

* * *

Хозяин этого сновидения явно стремился к представлению добра и зла в их общей функции; возможно, в ответ на все меньшую разрешимость морального конфликта в христианской душе. Вместе со своего рода релятивизацией противоположностей происходит известное сближение с восточными идеями. А именно с индуистской философией, с освобождением от противоположностей, что дает возможность разрешения конфликта путем применения. Насколько полна смысла и опасна восточная релятивизация добра и зла, можно судить по мудрой индийской загадке: «Кто дальше от совершенства? Тому, кто любит Бога, нужны семь перерождений, чтобы достигнуть совершенства, а тому, кто ненавидит Бога, нужны только три. Потому что тот, кто ненавидит Его, думает о Нем больше, чем тот, кто Его любит». Освобождение от противоположностей предполагает их функциональную равноценность, что противоречит нашим христианским чувствам. Тем не менее, как показывает наш пример со сновидением, предписанная им коопeração моральных противоположностей является естественной истиной, которая столь же естественно признается Востоком, на что самым отчетливым образом указывает философия даосизма. Кроме того, в христианской традиции имеются высказывания, приближающиеся к этой позиции; достаточно вспомнить притчу о неверном хозяине дома. Наш сон в этом смысле уникален, поскольку тенденция релятивизации противоположностей является очевидным свойством бессознательного. Стоит добавить, что вышесказанное относится только к случаям обостренного морального чувства; в иных случаях бессознательного столь же неумолимо указывает на несовместимость противоположностей. Позиция бессознательного, как правило, соотносится с сознательной установкой. Можно было бы сказать, что наше сновидение, предполагает специфические убеждения и сомнения теологического сознания протестантского толка. Это значит, что истолкование должно ограничиваться определенной проблемной областью. Но и в случае такого ограничения сновидение демонстрирует превосходство предлагаемой точки зрения. Его смысл выражается мнением и голосом белого мага, превосходящего во всех отношениях сознание спящего. Маг – это синоним мудрого старца, восходящего по прямой линии к образу шамана в первобытном обществе. Подобно Аниме, мудрый старец является бессмертным демоном, освещющим хаотическую темноту жизни лучом смысла. Это просветленный, учитель и мастер, психопомп (водитель души). Его персонификация, а именно «сокрушитель скрижалей», не ускользнула от Ницше. Правда, у него водителем души сделался Заратустра, превращенный из великого духа чуть ли не гомеровского века в носителя и глашатая собственного «дионисийского» просветления и восхищения. Хотя Бог для него и умер, но демон мудрости стал олицетворяющим его

двойником, когда он говорит: «Единое раздоилось, и мимо проходит Заратустра». Заратустра для Ницше больше, чем поэтическая фигура, он является непроизвольной исповедью. Так и он сам блуждал во тьме забывшей о Боге, раскрестившейся жизни, а потому спасительным источником для его души стал Открывающий и Просветленный. Отсюда иератический язык Заратустры, ибо таков стиль этого архетипа.

Переживая этот архетип, современный человек сталкивается в своем опыте с древнейшим типом мышления, автономной деятельностью мышления, объектом которой является он сам. Гермес Трисмегист или Тот герметической литературы, Орфей из «Поимандреса» или родственного ему «Пастуха» Гермы являются последующими формулировками того же самого типа. Если бы имя Люцифер не обросло всякого рода предрассудками, оно полностью подходило бы этому архетипу. Я удовлетворился поэтому такими обозначениями, как «архетип старого мудреца» или «архетип смысла». Как и все архетипы, он имеет позитивный и негативный аспекты, в обсуждение которых я не хотел бы вдаваться...

* * *

Три рассматривающихся до сих пор архетипа Тень, Анима, старый мудрец в непосредственном опыте чаще всего выступают персонифицировано. Ранее я попытался обозначить психологические предпосылки опыта этих архетипов. Однако сказанное является лишь частично абстрактной рационализацией. Следовало бы дать описание процесса так, как он предстает в непосредственном опыте. По ходу этого процесса архетипы выступают как действующие персонажи сновидений и фантазий. Сам процесс представлен архетипом иного рода, который можно было бы обозначить как архетип трансформации. Он уже не персонифицирован, но выражен типичными ситуациями, местами, средствами, путями и т. д., символизирующими типы трансформации. Как и персоналии, архетипы трансформации являются подлинными символами. Их нельзя исчерпывающим образом свести ни к знакам, ни к аллегориям. Они ровно настолько являются настоящими символами, насколько они многозначны, богаты предчувствиями и в конечном счете неисчерпаемы. Несмотря на свою познаваемость, основополагающие принципы бессознательного неописуемы уже в силу богатства своих отношений. Суждение интеллекта направлено на однозначное установление смысла, но тогда оно проходит мимо самой их сущности: единственное, что мы безусловно можем установить относительно природы символов, это многозначность, почти необозримая полнота соотнесенностей, недоступность однозначной формулировки. Кроме того, они принципиально парадоксальны, вроде того, как у алхимиков «старый и молодой подобны».

При желании дать картину символического процесса хорошим примером являются серии образов алхимиков. Они пользуются, в основном, традиционными символами, несмотря на зачастую темное их прошлое, происхождение и значение. Превосходным восточным примером является тантристская система чакр или мистическая нервная система в китайской йоге. По всей вероятности, и серия образов в Таро является потомком архетипов трансформации. Такое видение Таро стало для меня очевидным после подкрепляющего его доклада Р. Бернулли.

Символический процесс является переживанием образа и через образы. Ход процесса имеет, как правило, энантиоморфическую структуру, подобно тексту «И Цзин», устанавливающую ритм отрицания и полагания, потери и приобретения, светлого и темного. Его начало почти всегда характеризуется как тупик или подобная ему безвыходная ситуация; целью процесса является, вообще говоря, просветление или высшая сознательность. Через них первоначальная ситуация переводится на более высокий уровень. Этот процесс может давать о себе знать, и будучи временно вытесненным, в единственном сновидении или кратковременном переживании, но он может длиться месяцами и годами в зависимости от исходной ситуации испытывающего процесс индивида и тех целей, к которым должен привести этот процесс. Хотя все переживается образно-символически, здесь неизбежен

весмы реальный риск (это не книжные опасности), поскольку судьба человека часто зависит от переживаемой трансформации. Главная опасность заключается в искушении поддаться чарующему влиянию архетипов. Так чаще всего и происходит, когда архетипические образы воздействуют помимо сознания, без сознания. При наличии психологических предрасположений, а это совсем не такое уж редкое обстоятельство, архетипические фигуры, которые в силу своей природной нуминовности обладают автономностью, вообще освобождаются от контроля сознания. Они приобретают полную самостоятельность, производя тем самым феномен одержимости. При одержимости Анимой, например, больной пытается кастрировать себя, чтобы превратиться в женщину по имени Мария, или наоборот, боится, что с ним насильственно хотят сделать что-нибудь подобное. Больные часто обнаруживают всю мифологию Анимы с бесчисленными архаическими мотивами. Я напоминаю об этих случаях, так как еще встречаются люди, полагающие, что архетипы являются субъективными призраками моего мозга.

* * *

То, что со всей жестокостью обрушивается в душевной болезни, в случае невроза остается еще скрытым в подпочве. Но это не уменьшает воздействие на сознание. Когда анализ проникает в почву феноменов сознания, обнаруживаются те же самые архетипические фигуры, что населяют и бред психотиков. Бесконечно большое количество литературно-исторических документов доказывает, что практически во всех нормальных типах фантазии присутствуют те же архетипы. Они не являются привилегией души больных. Патологический момент заключается не в наличии таких представлений, а в диссоциации сознания, которое уже не способно господствовать над бессознательным. Во всех случаях раскола встают необходимые интеграции бессознательного в сознание. Речь идет о синтетическом процессе, называемом мною «процесс индивидуации».

Этот процесс соответствует естественному ходу жизни, за время которого индивид становится тем, кем он уже всегда был. Поскольку человек наделен сознанием, развитие происходит не столь гладко, появляются вариации и помехи. Сознание часто сбивается с архетипически инстинктивного пути, вступает в противоречие с собственным основанием. Тем самым возникает необходимость того и другого. А это и есть психотерапия на ее примитивной ступени, в форме целительных ритуалов. Примерами могут служить самоидентификация у австралийцев через провидение времен Альчеринга, отождествление себя с Сыном Солнца у индейцев Таоспэблос, апофеоз Гелиоса в мистериях Иисуса по Апулею и т. д. Терапевтические методы комплексной философии заключаются, соответственно, с одной стороны, в возможно более полном доведении до сознания констелированного бессознательного содержания, а с другой стороны, в достижении синтеза этого содержания с сознанием в познавательном акте. Культурный человек сегодня достиг столь высокого уровня диссоциации и настолько часто пускает ее в ход, чтобы избавиться от любого риска, что возникает сомнение по поводу возможности соответствующих действий на основе его познания. Необходимо считаться с тем, что само по себе познание не ведет к реальному изменению, осмысленному практическому применению познания. Познание, как правило, ничего не дает и не содержит в самом себе никакой моральной силы. Поэтому должно быть ясно, в какой мере излечение неврозов представляет собой моральную проблему.

Так как архетипы, подобно всем нумиозным явлениям, относительно автономны, их чисто рациональная интеграция невозможна. Для интеграции необходим дидактический метод, то есть противостояние, часто приобретающее у пациентов форму диалога, в котором они, не подозревая об этом, реализуют алхимическое определение медитации как беседу со своим добрым ангелом.

Этот процесс протекает обычно драматически, с различными перипетиями. Он выражается или сопровождается символическими сновидениями, тем, которые в виде

мифологического мотива издавна представляют процесс трансформации души...

Шизофрения

...Уже Фрейд не мог не сравнить с мифологическим мотивом часто встречающийся в неврозах комплекс инцеста и выбрал для него подходящее название эдипов комплекс. Но этот мотив далеко не единственный. Скажем, для женской психологии надо было бы выбрать другое название – комплекс Электры, как я уже давно предлагал. Кроме них есть еще много других комплексов, которые также можно сопоставить с мифологическими мотивами.

Именно наблюдаемое при шизофрении частое обращение к архаическим формам и комплексам ассоциаций впервые натолкнуло меня на мысль о бессознательном, состоящем не только из утраченных исконно сознательных содержаний, но также из более глубокого слоя универсального характера, сходного с мифическими мотивами, характеризующими человеческую фантазию вообще. Эти мотивы ни в коей мере не выдуманы, они найдены как типичные формы, спонтанно и универсально встречающиеся в мифах, сказках, фантазиях, снах, видениях и бредовых идеях. Их более внимательное исследование показывает, что речь идет об установках, формах поведения, типах представлений и импульсах, которые должны рассматриваться как типичное для человека инстинктивное поведение. Поэтому выбранный для них термин «архетип» совпадает с известным в биологии понятием *«pattern of behavior»*.

Здесь речь идет вовсе не об унаследованных представлениях, но об унаследованных инстинктивных стимулах и формах в том виде, как они наблюдаются у всех живых существ.

Поэтому, если в шизофрении особенно часто встречаются архаические формы, то этот феномен указывает на более глубокую (по сравнению с неврозом) биологическую патологию. Опыт показывает, что в снах архаические образы с их характерной нуминозностью возникают, главным образом, в ситуациях, каким-либо образом задевающих основы индивидуального существования, в опасные для жизни моменты, перед или после несчастных случаев, тяжелых болезней, операций и т. д., или же в случае проблем, придающих катастрофический оборот индивидуальной жизни (вообще в критические периоды жизни). Поэтому сны такого рода не только сообщались в древности ареопагу или римскому сенату, но в примитивных обществах и сегодня являются предметом обсуждения, откуда явствует, что за ними исконно признавалось коллективное значение.

Понятно, что в жизненно важных обстоятельствах мобилизуется инстинктивная основа психики, даже если сознание не понимает ситуации. Можно даже сказать, что как раз тогда инстинкту предоставляется случай взять верх. Угроза для жизни при психозе очевидна и понятно, откуда появляются обусловленные инстинктами содержания. Странно только, что эти проявления не систематичны, как, например, в истерии, где одностороннему сознанию личности в качестве компенсации противостоит уравновешенность и рационализм, дающие шанс для интеграции.

Если бы шизофреническая компенсация, т. е. выражение аффективных комплексов, ограничивалась лишь архаическим или мифологическим формулированием, то ассоциативные образы можно было бы понять как поэтические иносказания. Однако обычно это не так, и в нормальных снах тоже; ассоциации бессистемны, бессвязны, гротескны, абсурдны и, разумеется, непонятны. То есть шизофренические компенсации не только архаичны, но еще и искажены хаотической случайностью.

Здесь, очевидно, речь идет о дезинтеграции, распаде апперцепции в том виде, как он наблюдается в случаях крайнего, по Жанэ, *«abaissement du niveau mental»* при сильном утомлении и интоксикации. Исключенные из нормальной апперцепции варианты ассоциаций появляются при этом в поле сознания – именно те многообразные нюансы форм, смыслов и ценностей, которые характерны, например, для действия мескалина. Как известно, этот наркотик и его производные вызывают снижение порога сознания, которое позволяет воспринимать необычное, что удивительно обогащает апперцепцию, но препятствует ее интеграции в общую ориентацию сознания. Объем содержания вариантов перцептивного

акта заполняет все сознание и придает мескалиновым фантазиям неотразимость. Нельзя отрицать, что шизофреническое восприятие имеет много сходного. Однако экспериментальный материал не позволяет утверждать с уверенностью, что мескалин и патогенный фактор шизофрении вызывают одинаковые нарушения. Бессвязный, жесткий и прерывистый характер апперцепции шизофреника отличается от текучей и подвижной непрерывности мескалинового симптома. С учетом повреждений симпатической нервной системы, обмена веществ и кровообращения вырисовывается общая психологическая и физиологическая картина шизофрении, которая во многих отношениях напоминает токсикоз, что заставило меня еще пятьдесят лет назад предположить наличие специфического обменного токсина.

* * *

Тогда у меня не было опыта, и я был вынужден оставить открытый вопрос о первичности или вторичности токсической этиологии. Сегодня я пришел к убеждению, что психогенная этиология болезни вероятнее, чем токсическая. Есть много легких и переходящих явно шизофренических заболеваний, не говоря уже о еще более частых латентных психозах, которые чисто психогенно начинаются, так же психогенно протекают и излечиваются чисто психотерапевтическими методами. Это наблюдается и в тяжелых случаях.

Так, например, я вспоминаю случай девятнадцатилетней девушки, которая в семнадцать лет была помещена в психиатрическую больницу из-за кататонии и галлюцинаций. Ее брат был врачом, и так как он сам был замешан в цепь приведших к катастрофе патогенных переживаний, то в отчаянии утратил терпение и дал мне «carte blanche» для того, чтобы «наконец было сделано все, что в человеческих силах». Он привез ко мне пациентку в кататоническом состоянии, в полном аутизме, с холодными синими руками, застойными пятнами на лице и расширенными, слабо реагирующими зрачками. Я поместил ее в расположенный неподалеку санаторий, откуда ее ежедневно привозили ко мне на часовую консультацию. После многонедельных усилий мне удалось заставить ее к концу каждого часа шепотом сказать несколько слов. В тот момент, когда она собиралась говорить, у нее каждый раз сужались зрачки, исчезали пятна на лице, вскоре затем нагревались и приобретали нормальный цвет руки. В конце концов, она начала говорить – поначалу с бесконечными повторами и оттяжками – и рассказывать мне содержание своего психоза. У нее было лишь очень фрагментарное образование, она выросла в маленьком городке в буржуазной среде и не имела ни малейших мифологических и фольклорных познаний. И вот она рассказала мне длинный и подробный миф, описание ее жизни на Луне, где она играла роль женщины-спасителя лунного народа. Как классическая связь Луны с безумием, так и другие многочисленные мифологические мотивы в ее рассказе были ей неизвестны. Первый рецидив произошел после приблизительно четырехмесячного лечения и был вызван внезапным прозрением, что она уже не сможет вернуться на Луну после того, как открыла свою тайну человеку. Она впала в состояние сильного возбуждения, пришлось перевести ее в психиатрическую клинику. Профессор Эуген Блейлер, мой бывший шеф, подтвердил диагноз кататонии. Через приблизительно два месяца острый период постепенно прошел, и пациентка смогла вернуться в санаторий и возобновить лечение. Теперь она была доступнее для контакта и начала обсуждать проблемы, характерные для невротических случаев. Ее прежняя апатия и бесчувственность постепенно уступили место тяжеловесной эмоциональности и чувствительности. Перед ней все больше открывалась проблема возвращения в нормальную жизнь и принятия социального существования. Когда она увидела перед собой неотвратимость этой задачи, произошел второй рецидив, и ее вновь пришлось госпитализировать в тяжелом припадке буйства. На этот раз клинический диагноз был «эпилептоидное сумеречное состояние» (предположительно). Очевидно, за прошедшее время вновь пробудившаяся эмоциональная жизнь стерла шизофренические черты.

После годичного лечения я смог, несмотря на некоторые сомнения, отпустить пациентку как излеченнную. В течение тридцати лет она письмами информировала меня о своем состоянии здоровья. Через несколько лет после выздоровления она вышла замуж, у нее были дети, и она уверяла, что у нее никогда более не было приступов болезни.

* * *

Впрочем, психотерапия тяжелых случаев ограничена относительно узкими рамками... Результаты лечения часто курьезны. Так, я вспоминаю случай шестидесятилетней вдовы, в течение тридцати лет страдавшей (после острого шизофренического периода) хроническими галлюцинациями. Она слышала «голоса», исходящие из всей поверхности тела, особенно громкие вокруг всех телесных отверстий, а также вокруг сосков и пупка. Она весьма страдала от этих неудобств. Я принял этот случай (по не обсуждаемым здесь причинам) для «лечения», похожего скорее на контроль или наблюдение.

Терапевтически случай казался мне безнадежным еще и потому, что пациентка обладала весьма ограниченным интеллектом. Хотя она сносноправлялась со своими домашними обязанностями, разумная беседа с ней была почти невозможна. Лучше всего это получалось, когда я адресовался к голосу, который пациентка называла «голосом Бога». Он локализовался приблизительно в центре грудины. Этот голос сказал, что она должна на каждой консультации читать выбранную мной главу Библии, а в промежутках заучивать ее и раздумывать над ней дома. Я должен был проверять это задание при следующей встрече. Это странное предложение оказалось впоследствии хорошей терапевтической мерой, оно привело к значительному улучшению не только речи пациентки и ее способности выражать свои мысли, но и психических связей. Конечный успех состоял в том, что приблизительно через восемь лет правая половина тела была полностью освобождена от голосов. Они продолжали сохраняться только на левой стороне. Этот непредвиденный результат был вызван постоянно поддерживаемым вниманием и интересом пациентки. (Она затем умерла от апоплексии).

Вообще же уровень интеллекта и образованности пациента имеет большое значение для терапевтического прогноза. В случаях острого периода или в ранней стадии обсуждение симптомов, в частности, психотических содержаний, имеет величайшую ценность. Так как захваченность архетипическими содержаниями очень опасна, разъяснение их общего безличного значения представляется особенно полезным в отличие от обсуждения личных комплексов. Последние являются первопричинами архаических реакций и компенсаций; они в любой момент могут вновь привести к тем же последствиям. Поэтому пациенту нужно помочь хотя бы временно оторвать свое внимание от личных источников раздражения, чтобы он сориентировался в своем запутанном положении. Вот почему я взял себе за правило давать умным пациентам как можно больше психологических знаний. Чем больше он знает, тем лучше будет его прогноз вообще; будучи вооружен необходимыми знаниями, он сможет понять повторные прорывы бессознательного, лучше ассимилировать чуждые содержания и интегрировать их в сознание. Исходя из этого, обычно в тех случаях, когда пациент помнит содержание своего психоза, я подробно обсуждаю его с больным, чтобы сделать максимально доступным пониманию.

Правда, этот способ действий требует от врача не только психиатрических знаний – он должен ориентироваться в мифологии, примитивной психологии и т. д. Сегодня такие познания должны входить в арсенал психотерапевта так же, как они составляли существенную часть интеллектуального багажа врача до века Просвещения. (Вспомним, например, средневековых последователей Парацельса!) К человеческой душе, особенно страдающей, нельзя подходить с невежеством непрофессионала, знающего в психике только свои собственные комплексы. Именно поэтому соматическая медицина предполагает основательные знания анатомии и физиологии. Как есть объективное человеческое тело, а не только субъективное и личное, точно так же есть и объективная психика с ее

специфическими структурами и процессами, о которых психотерапевт должен иметь (по меньшей мере) удовлетворительное представление. К сожалению, в этом отношении за последние полстолетия мало что изменилось. Правда, было несколько, с моей точки зрения, преждевременных, попыток создания теории, проваливающихся из-за предрассудков консультационного кабинета и недостаточного знания фактов. Необходимо накопить еще много опыта во всех областях психологии, прежде чем будут обеспечены основы, сопоставимые, например, с результатами сравнительной анатомии. Об устройстве тела мы знаем сегодня бесконечно больше, чем о структуре души, жизнь которой становится все более важной для понимания соматических расстройств и человеческой природы в целом...

* * *

Несмотря на психогенность шизофрении, в ее течении наступают осложнения, которые трудно объяснить психологически. Как указывалось выше, это происходит в окружении патогенного комплекса. В нормальном случае и при неврозе формирующий комплекс или аффект вызывает симптомы, которые можно истолковать как более легкие формы шизофренических, – прежде всего известное «*abaissement du niveau mental*» с характерной для него односторонностью, затруднением суждения, слабостью воли и характерными реакциями (заикание, персеверации, стереотипность, аллитерации и ассонансы в речи). Аффект проявляется и как источник неологизмов. Все эти феномены учащаются и усиливаются при шизофрении, что недвусмысленно указывает на чрезвычайную силу аффекта. Как часто бывает, аффект не всегда проявляется внешне, драматически, но развивается, невидимый внешнему наблюдателю, как бы внутрь, где он вызывает интенсивные бессознательные компенсации.

Они проявляются особенно в бредовых речах и в сновидениях, овладевающих сознанием с неотразимой (*possessif*) силой. Степень неотразимости соответствует силе патогенного аффекта и ею же объясняется.

В то время как в области нормы и неврозов острый аффект проходит сравнительно быстро, а хронический не слишком сильно расстраивает общую ориентацию сознания и дееспособность, шизофренический комплекс оказывается во много раз сильнее. Его фиксированные проявления, автономия и деструктивность овладевают сознанием вплоть до отчуждения и разрушения личности.

Он не создает «*double personnalité*», а лишает его власти, становясь на его место. Это наблюдается лишь в самых острых и тяжелых аффективных состояниях (патологические аффекты и делирий). Нормальная форма такого состояния – сновидение, которое, в отличие от шизофрении, имеет место не при бодрствовании, а во сне.

Возникает дилемма: слабое это или сильный аффект тому первопричина? Я считаю, что последнее перспективнее – по следующим причинам. Для понимания содержания сновидения слабое это (в состоянии сна) не значит практически ничего. А вот аффективный комплекс и динамически, и содержательно оказывает решающее воздействие на смысл сновидения. Этот вывод можно применить и к шизофрении, ибо вся феноменология этой болезни концентрируется в патогенном комплексе. При попытке объяснения лучше всего исходить именно из этого и рассматривать слабость это как вторичное и деструктивное последствие аффективного комплекса, возникшего в области нормального, но впоследствии взорвавшего единство личности.

Каждый комплекс, в том числе и при неврозах, обладает явной тенденцией к нормализации, встраиваясь в иерархию высших психических связей или, в худшем случае, порождая новые субличности.

В отличие от этого при шизофрении комплекс застревает не только в архаическом, но и хаотически случайном. Он остается чуждым, непонятным, асоциальным, как и большинство сновидений. Эта их особенность объясняется состоянием сна.

По сравнению с ними для шизофрении в качестве объясняющей гипотезы приходится

использовать специфический патогенный фактор. Им может являться токсин специфического действия, вырабатываемый под воздействием чрезмерного аффекта. Он не оказывает общего воздействия, расстройства функций восприятия или двигательного аппарата, а действует только в окружении патогенного комплекса, ассоциативные процессы которого вследствие интенсивного «*abaissement du niveau mental*» опускаются до архаической ступени и разлагаются на элементарные составные части.

Однако этот постулат заставляет думать о локализации, что может показаться слишком смелым. Правда, похоже (частное сообщение), что двум американским исследователям удалось вызвать галлюцинаторное видение архетипического характера путем раздражения ствола мозга. Речь идет о случае эпилепсии, в котором проромальным симптомом припадка всегда выступало видение *quadrature circuit*.

* * *

Этот мотив входит в длинный ряд т. н. символов мандолы, локализацию которых в мозговом стволе я давно предполагал. Психологически речь идет об архетипе, имеющем центральное значение и всеобщее распространение, спонтанно появляющемся независимо от всякой традиции в образах бессознательного. Он легко распознается и не может остаться тайной ни для кого, кто видит сны. Причина, заставившая меня предположить такую локализацию, состоит в том, что именно этому архетипу присуща роль направляющего, «инстанции порядка».

Поэтому символы мандалы часто появляются в моменты духовной дезориентации – как компенсирующие, упорядочивающие факторы. Последний аспект выражается преимущественно математической структурой символа, известной герметической натурфилософии еще с поздней античности как аксиома Марии Пророчицы (представительницы неоплатонической философии III века) и бывшей в течение 1400 лет предметом интенсивных спекуляций.

Если бы последующий опыт подтвердил мысль о локализации архетипа, то саморазрушение патогенного комплекса специфическим токсином стало бы намного вероятнее, и появилась бы возможность объяснить деструктивный процесс как своего рода ложную защитную реакцию.

Впрочем, пройдет еще немало времени, пока нейрофизиология и патофизиология мозга, с одной стороны, и психология бессознательного, с другой, смогут соединиться. До этого им, видимо, придется шагать по разным дорогам. Психиатрии же, лечащей целостного человека, придется учитывать как одну, так и другую сторону – вопреки пропасти, разделяющей оба аспекта психического феномена. Хотя нашему пониманию не дано пока найти мосты, соединяющие друг с другом видимость и осозаемость мозга и кажущуюся бесплотность психических образов, но есть несомненная уверенность в их существовании. Пусть эта уверенность убережет исследователей от опрометчивого и нетерпеливого пренебрежения одним ради другого или даже стремления заменить одно другим. Природы ведь не было бы без субстанциальности – как не было бы и без ее психической рефлексии.

Жизнь после смерти

... В заключение я коснусь такой важной темы как «жизнь после смерти». Все, что я могу поведать о потустороннем, о жизни после смерти, все это – воспоминания. Это мысли и образы, с которыми я жил, которые не давали мне покоя. В определенном смысле они являются основой моих работ, ведь мои работы – не что иное, как неустанные попытки ответить на вопрос: какова связь между тем, что «здесь», и тем, что «там»? Однако я никогда не позволял себе говорить о жизни после смерти *expressis verbis*, в противном случае мне пришлось бы как-то обосновать мои соображения, чего я сделать не в состоянии. И все же я попробую рассказать об этом.

Впрочем, все равно это будет всего лишь «сказка», миф. Может быть, человеку нужно прикоснуться к смерти, чтобы он обрел необходимую для этого свободу и раскованность. Независимо от того, желаю ли я какой-нибудь жизни после смерти или нет, – я прежде всего не хотел бы культивировать в себе подобные мысли. Но должен отметить, что на самом деле, безотносительно моих желаний и поступков, я все равно об этом думаю. Что здесь правда, что ложь, я не знаю, но такие мысли есть и вполне могут оформиться, если только я, следя рассудку, не стану подавлять их. Предвзятость обедняет психическую жизнь, нанося непоправимый ущерб всем ее проявлениям, но я знаю слишком мало, чтобы суметь каким-то образом откорректировать этот ущерб. Возможно, что критическое вмешательство рассудка смогло бы многое прояснить как в этом, так и в большинстве других мифологических представлений, но не исключено, что оно же редуцировало бы их вплоть до полного исчезновения.

Дело в том, что в наши дни большинство людей идентифицируют себя исключительно со своим сознанием и полагают, что они есть именно то, что о себе знают. Но всякий, кто мало-мальски знаком с психологией, скажет вам, сколь ограниченно это знание. Рационализм и доктринерство – это болезни нашего времени, предполагается, что им известны ответы на все вопросы. Но нам еще предстоит открыть все то, что наше нынешнее ограниченное знание пока исключает как невозможное. Наши понятия о пространстве и времени более чем приблизительны, и существует огромное поле для всякого рода отклонений и поправок. Понимая это, я не могу просто взять и отбросить странные мифы моей души и внимательно наблюдаю за всем происходящим вокруг, независимо от того, насколько это соответствует моим теоретическим предположениям.

Жаль, но мифологическая сторона человеческой натуры сегодня изрядно упростилась. Человек более не порождает сюжеты. Он себя многое лишает, потому что это очень важно и полезно – говорить о вещах непостижимых. Это похоже на то, как если бы мы сидели у огня и, покуривая трубку, рассуждали о привидениях.

Что на самом деле означают мифы или истории о потусторонней жизни, какого рода реальность они отражают, – мы, безусловно, не знаем. Мы не можем сказать, имеют ли они какую-либо ценность помимо того, что представляют собой несомненную антропоморфическую проекцию извне. И нужно никогда не забывать о главном – о том, что нельзя и невозможно с уверенностью говорить о вещах, которые выше нашего понимания.

Мы не в состоянии вообразить себе другой мир, другие обстоятельства иначе, чем по образу и подобию того мира, в котором живем, который сформировал наш дух и определил основные предпосылки нашей психики. Мы существуем в жестких рамках своей внутренней структуры и всеми своими помыслами привязаны к этому нашему миру. Мифологическое сознание способно преодолеть это, но научное знание не может себе такого позволить. Для рассудка вся эта мифология – просто спекуляция; но для души она целебна, без нее наша жизнь стала бы плоской и серой. И нет никаких веских причин так себя обкрадывать.

Парapsихология считает вполне удовлетворительным доказательством потусторонней жизни некую манифестацию усопших: они заявляют о себе как призраки или через медиума, передавая живым то, о чем знать могут только они. Но даже когда это верифицируемо, остаются вопросы, идентичен ли этот призрак или голос покойнику или это некая проекция бессознательного, были ли вещи, о которых говорил голос, ведомы мертвому или же опять-таки проходили по ведомству бессознательного?

Даже если отбросить в сторону все рациональные аргументы, которые по сути запрещают нам с уверенностью говорить о подобных вещах, остаются еще люди, для которых очень важна уверенность в том, что жизнь их продолжится за пределами настоящего существования. Благодаря ей они стараются жить более разумно и спокойно. Если человек знает, что перед ним целая вечность, нужна ли эта бессмысленная спешка?..

* * *

Безусловно, так думает не каждый. Есть люди, которых сама мысль о бессмертии приводит в ужас, – неужели им придется десятки тысяч лет восседать на облаке и перебирать струны арфы? Кроме того, есть люди, и их немало, с которыми жизнь обошлась так жестоко, которым так надоело собственное существование, что ужасный конец они предпочитают бесконечному кошмару. И тем не менее в большинстве случаев вопрос о бессмертии настолько важен и настолько впрямую связан с бытием, что мы должны попытаться составить об этом определенное представление. Но каким образом?

На мой взгляд, этого можно добиться с помощью тех неясных образов, которые бессознательное посыпает, например, в наши сны. Обычно мы не придаем им значения как вопросу, на который нет ответа. Подобный скептицизм понять несложно, но я попробую заинтересовать вас следующими соображениями: если существует нечто, чего мы не можем знать, мы не должны подходить к этому как к интеллектуальной проблеме. Например, я не знаю, почему и как возникла Вселенная, и никогда этого не узнаю. Поэтому мне нет смысла делать из этого научную или интеллектуальную проблему. Но, когда у меня есть представление об этом – из сновидения или мифологической традиции, – мимо я уже не пройду. Я буду стараться на их основе создать некую концепцию, даже если она так и останется гипотезой, которую мне никогда не удастся обосновать.

У человека должна быть возможность сказать, что он сделал все, чтобы иметь какое-то представление о жизни после смерти или некий образ такой жизни, – даже если это станет признанием его бессилия. Отказаться от такой попытки – значит лишить себя чего-то важного. Ведь в этом проявляется вековое наследие человечества, полный тайной жизни архетип, необходимая часть той целостности, которая и есть наша личность, мы сами. Границы разума слишком узки, он приемлет только известное, и то с ограничениями. И такое существование – в ограниченных рамках – выдает себя за жизнь действительную.

Но наша каждодневная жизнь определяется не только сознанием, без нашего ведома в нас живет бессознательное. И чем сильнее крен в сторону критического разума, тем более убогой становится жизнь. Когда же мы осознаем свое бессознательное, свои мифы, какой богатой и разнообразной делается она. Абсолютная власть разума – то же самое, что политический абсолютизм: она уничтожает личность.

Бессознательное дает нам некий шанс, что-то сообщая или на что-то намекая своими образами. Оно способно дать нам знание, неподвластное традиционной логике. Попробуйте припомнить феномены синхронизма, предчувствия или сны, которые сбылись!..

Когда такое случается, нами овладевает страх перед разного рода возможностями и способностями бессознательного. В подобных ситуациях нужно быть очень осторожными, помня, что такого рода «сообщения» всегда субъективны: они могут иметь некоторое отношение к реальности, но могут и не иметь. Но я не единожды убеждался, что те построения, которые возникали у меня на основании таких «подсказок» бессознательного, в основном себя оправдали. Речь, конечно, идет не о том, чтобы составить книгу из подобного рода откровений, но я должен признать, что у меня есть свой «миф», именно из-за него я снова и снова обращаюсь к проблемам бессознательного. Миф – самая ранняя форма знания. Когда я говорю о том, что бывает после смерти, я делаю это по внутреннему побуждению и не могу идти дальше снов и мифов. Можно, наверное, с ходу заявить, что мифы и сновидения, связанные с происходящим после смерти, не что иное, как компенсаторные фантазии, заложенные в самой природе: всякая жизнь желает продолжаться вечно. У меня есть лишь одно возражение: миф.

* * *

Кроме того, есть люди, убежденные в том, что на некую часть души не распространяются законы пространства и времени. Многочисленные случаи спонтанных предчувствий, внепространственных ощущений и т. п. доказывают, что душа подчас функционирует по ту сторону пространства, времени и законов причинности. Это означает,

что нашим представлениям о пространстве, времени, а следовательно, и причинности, явно не хватает полноты. Целостная картина мира требует как минимум еще одного измерения, в противном случае очень многое остается непонятным и необъяснимым. Вот почему рационалисты не устают повторять, что парапсихологических явлений в действительности не существует, ведь на этой зыбкой основе и держится их картина мира. Если же такого рода феномены вообще имеют место, рационалистический миропорядок явно перестает кого-либо удовлетворять: он не полон. Отсюда со всей неизбежностью вытекает другая проблема – возможность существования иной реальности. И нам приходится признать то, что наш мир, с его временем, пространством и причинностью, скрывает за собой (или под собой) иной порядок вещей, где нет «здесь» и «там», «раньше» и «позже». По моему убеждению, по меньшей мере части нашего психического существа присуща релятивность времени и пространства. Она представляется абсолютной, как только мы удаляемся от сознательных процессов...

Смерть – предмет слишком значительный, особенно для стареющего человека, когда она перестает быть, скажем так, отдаленной возможностью, когда человек оказывается стоящим прямо перед ней и вынужден дать ответ. Но для этого ему нужен некий миф о смерти, потому что «здравый смысл» не подсказывает ничего, кроме ожидающей его черной ямы. Миф же способен предложить иные образы – благотворные и полные смысла картины жизни в стране мертвых. Если человек в них верит хотя бы немного, он так же прав или неправ, как тот, кто не верит в них. Отвергнувший миф уходит в ничто, а тот, кто следует архетипу, идет по дороге жизни и полон жизни даже в момент смерти. Оба, естественно, остаются в неведении, но один живет наперекор своему инстинкту, другой – в согласии с ним. Разница существенная, и преимущество последнего более чем очевидно.

Бессознательные образы сами по себе лишены какой бы то ни было формы, и, чтобы они, эти образы, сделались «знанием», необходим человек, необходим контакт с сознанием... Если бы после смерти было возможно существование сознательного, оно, на мой взгляд, развивалось бы в том же направлении, что и «коллективное сознание» человечества, которое всегда имеет некую верхнюю, хотя и плавающую границу. Бытие многих людей до самой их смерти находится ниже уровня их потенциальных возможностей и, что важнее, ниже уровня, на котором в тех же временных рамках находятся другие. Отсюда и потребность первых достигнуть после смерти той степени осознанного восприятия явлений, на которую не удалось подняться при жизни.

* * *

Я осмелюсь утверждать, что, кроме собственно математических выражений, существуют и другие, соотносимые с реальностью самым непостижимым образом. Взять хотя бы порождения нашей фантазии, их в силу большой частотности вполне возможно рассматривать как *consensus omnium*, архетипические мотивы. Как существуют математические уравнения, о которых нельзя сказать, каким именно физическим реальностям они соответствуют, так существует и мифологическая реальность, о которой мы не можем сказать, с какой психической реальностью она соотносится. К примеру, уравнения, позволяющие рассчитать турбулентность разогретых газов, были известны задолго до того, как эти процессы были досконально изучены. Подобным же образом с давних пор существуют мифологемы, определявшие течение некоторых скрытых от сознания процессов, названия которым мы смогли дать лишь сегодня.

Верхним пределом знания, доступного смертным, является, на мой взгляд, тот уровень сознания, который уже был некогда достигнут. Возможно поэтому земной жизни придается такое значение и так важно, что «уносит с собой человек» в момент смерти. Только в этой земной и противоречивой жизни достигается высшая ступень сознания. В этом и заключается метафизическая задача человека, которая без «мифологирования» решения не имеет. Миф – это необходимое связующее звено между бессознательным и сознательным

знанием.

Разумеется, бессознательному известно больше, но это особое знание, существующее в вечности, не разделенное на «здесь» и «сейчас», не переводимое на наш рациональный язык. Хотя удовлетворительных доказательств бессмертия души и продолжения жизни после смерти еще никто не представил, существуют явления, которые заставляют над этим задуматься. Я могу принять их как возможные отсылки, но не решусь, конечно, отнести их к области абсолютного знания.

Смерть действительно страшно жестока, здесь не стоит себя обманывать – она беспощадна не только физически, но прежде всего в психической своей природе: человека вырывают из круга живых, и все, что остается, это ледяное молчание мертвца. У нас нет надежды на какую бы то ни было связь с ним, все мосты разрушены. Люди, заслуживающие долгой жизни, умирают в расцвете лет, никчемные доживают до глубокой старости. Это жестокая реальность, и мы должны отдавать себе в этом отчет. Неумолимость и бессмысленность смерти может так ожесточить нас, что мы поверим в то, что не существует в мире ни милосердного Бога, ни справедливости, ни добра.

Но на другой взгляд – *sub specie aeternitatis* – смерть есть радостное событие, как некая свадьба. Душа словно обретает свою недостающую половину, достигая полноты. На греческих саркофагах изображали танцовщиц, на этрусских могилах – пир. И по сей день во многих местах в День поминовения по обычай устраивают на могилах своего рода «пикник». Все это свидетельствует об ощущении смерти как некоего празднества.

Бессознательное, по причине своей пространственно-временной относительности, владеет гораздо лучшими источниками информации, чем сознание – последнее лишь направляет наше смысловое восприятие, тогда как свои мифы о жизни после смерти мы умеем создавать благодаря немногим скучным намекам из наших сновидений и подобных спонтанных проявлений бессознательного. Как я уже отмечал, мифам не стоит придавать какую бы то ни было познавательную ценность и уж совсем не следует считать их доказательствами. Тем не менее они могут явиться основанием для мифологической амплификации, открывая перед исследователем возможности для живого творчества. Уберите этот промежуточный мифологический мир фантазий, и дух станет добычей закостеневших доктринерских предрассудков. С другой стороны, уделяя слишком много внимания этим мифологическим образованиям, мы рискуем посеять сомнение и соблазн в умах слабых и внушаемых, склонных к фантастическому гипостазированию.

* * *

Один из наиболее широко распространенных мифов о потустороннем мире возник благодаря идеям и представлениям о реинкарнации. В одной стране, чья духовная культура очень сложна и гораздо древнее, чем наша (речь, разумеется, об Индии), мысль о переселении душ является столь же естественной, как наши представления о Творце, или *Spiritus rector*. Образованным индусам известно, что мы их точку зрения не разделяем, но их это нимало не волнует. Своеобразие восточной мудрости заключается в том, что последовательность рождений и смертей бесконечна и, подобно вечному круговороту, не имеет цели. Мы живем, достигаем какого-то знания, умираем, и все начинается сначала. Только с именем Будды связана идея славной цели – преодоления земного существования.

Мифологическая потребность западного человека обусловлена эволюционистским мировоззрением с обязательными понятиями начала и цели. Ему чужда идея пути, имеющего начало и конец, но не имеющего цели, точно так же он отвергает представление о статическом, замкнутом, вечном круговороте. Восточный человек, напротив, склонен примириться с этой идеей. Но, по-видимому, и на Востоке нет всеобщего консенсуса в представлениях об устройстве Вселенной, так же как до сих пор нет согласия по этому поводу и среди астрономов. Саму идею бессмысленной неподвижности западный человек отвергает с ходу, во всем он должен видеть какой-то смысл. Восточный человек не

нуждается в подобном допущении, скорее он сам воплощает в себе этот смысл. Там, где западный человек стремится осмысливать этот мир, человек восточный находит смысл в себе самом, отрешаясь от иллюзий мирского существования.

Я думаю, что правы оба. Западный человек, похоже, в большей степени экстравертирован, восточный же, наоборот – скорее интроверт. Первый видит смысл вне себя, проецируя его на объекты, второй ощущает его в себе самом. Но смысл существует как извне, так и внутри нас. Идею перерождения невозможно отделить от того, что называют кармой. Здесь существуют проблемы в том, есть ли у человека его собственная, индивидуальная карма? Если это так, тогда человек входит в жизнь с некоторой предопределенностью, воплощая в себе исход всех предыдущих жизней, он звено в какой-то бесконечно меняющейся непрерывной череде, в каком-то персональном континууме. В противном случае, если человеку с рождения дана некая безличная карма, его новые воплощения никак не связаны между собой.

Ученики дважды спрашивали Будду: безлична ли человеческая карма? Оба раза он уходил от ответа: ведь знание не дает возможности освободиться от иллюзии бытия. Будда видел гораздо больше пользы для своих учеников в медитациях о цепи нирваны: о рождении, жизни, старости и смерти, о причинах человеческих страданий.

У меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю, что такое моя карма, – или она следствие предыдущих моих жизней, или я только наследую своим предкам, воплощая их жизни. Жил ли я уже однажды и чего достиг в той жизни, если сейчас я только пытаюсь найти какие-то решения? Не знаю. Будда оставил вопрос открытым, и мне хочется думать, что он сам не был уверен в ответе.

Я вполне могу представить, что уже жил раньше и что тогда передо мной тоже возникали вопросы, на которые я не находил ответа. Возможно, мне следовало родиться снова для того, чтобы исполнить предназначеннное мне. Мне кажется, что после смерти все, что я сделал, пребудет со мной. А пока мне нужна твердая уверенность, что к концу жизни я не останусь ни с чем. Похоже, и Будда думал об этом, когда пытался уберечь учеников от бесплодных спекуляций.

* * *

Смысл моего существования – это тот вопрос, который задает мне жизнь. Или наоборот, я сам и есть этот вопрос, обращенный к миру, не ответив на него, я останусь с чужими ответами, и это уже буду не я. Я прилагаю все усилия, чтобы исполнить эту титаническую задачу. Возможно, мои предки уже думали об этом и не сумели найти ответ. Может быть, именно поэтому на меня произвел такое сильное впечатление исход «Фауста», вернее, его отсутствие? Или это проблема, с которой удалось справиться Ницше, – дионаисийская сторона жизни, понимание которой, видимо, было утрачено христианами? Или это беспокойный Вотан-Гермес, бог моих предков, германцев и франков, поставил меня перед неразрешимым вопросом? А может, правда на стороне Рихарда Вильгельма, который в шутку предположил, что в предыдущей жизни я был каким-нибудь мятежным китайцем и со своей восточной душой в наказание очутился в Европе.

Все, что я воспринимаю как наследие предков или как личную карму, приобретенную в прошлой жизни, вполне может оказаться неким безличным архетипом. Например, секуляризация Троицы, не допускавшей женского принципа, или вопрос, который занимал еще гностиков и ответ на который так и не найден, – вечный вопрос о происхождении зла, иными словами, вопрос о несовершенстве христианского видения Бога. Все это могут быть архетипические идеи, которые сегодня носятся в воздухе и которые особым образом привлекли мое внимание.

Мне думается, что судьба вопроса, сама возможность его постановки в этом мире находится в прямой зависимости от того, был ли найден ответ на него. К примеру, мой вопрос и мой ответ на него могут быть неудовлетворительными. Следовательно, кто-то,

рожденный с моей кармой, или я сам – должен явиться вновь, чтобы наконец отыскать ответ. И я могу себе представить, что мое новое рождение не состоится, потому что мир уже не будет нуждаться в этом ответе, и еще несколько сотен лет я буду спокойно ждать, пока снова не возникнет потребность в ком-нибудь, заинтересованном в решении такой задачи. Но полагаю, что должно пройти какое-то время, прежде чем это случится вновь.

Проблема кармы для меня также неясна, как и проблема индивидуального перерождения или переселения душ. *Libera et vacua mente* я обратился к индийскому учению о переселении душ, пытаясь найти в собственном опыте какое-либо подтверждение идеи реинкарнации. Естественно, что я весьма условно воспринимаю многочисленные свидетельства тех, кто безоговорочно верит в переселение душ.

Вера сама по себе доказывает собственно феномен, но не предмет веры. Чтобы стать фактом, предмет этот должен быть обнаружен эмпирически...

* * *

Допуская, что «там» жизнь продолжается, мы не можем представить себе иной формы существования, кроме психической, поскольку душа не нуждается ни в пространстве, ни во времени. И именно ею порожденные внутренние образы становятся затем материалом для мифологических спекуляций о потустороннем мире, который видится мне исключительно как мир образов. Душу следует понимать как нечто, принадлежащее миру потустороннему, или «стране мертвых». А бессознательное и «страна мертвых» суть синонимы. С психологической точки зрения «жизнь там» является логическим продолжением неких старческих размышлений, ибо все большую роль размышления о внутреннем мире, образы и видения начинают играть именно с наступлением старости. «... И старцы ваши сновиденьями вразумляемы будут...» (Деян., 2:17). Это означает, что души старых людей не застывают и не дряхлеют, – *sero medicina paratur cum mala per longas convaluere moras*.

В старости люди погружены в свои воспоминания, перебирая образы прошлого, узнавая в них себя, и это своего рода приготовление к потустороннему существованию, равно как философия, по Платону, есть приготовление к смерти. Внутренние образы позволяют мне уйти от этой постоянной обращенности в прошлое, что так затягивает большинство старых людей в плен их собственных воспоминаний. Переведенная в образы и осознанная обращенность в прошлое становится тем, что французы называют *reculer pour mieux sauter*. Мне хотелось бы обрести в своей рефлексии некую перспективу, которая уводила бы меня от моей жизни в мир и лишь затем возвращала снова назад – к моим воспоминаниям.

В целом наши представления о потусторонней жизни являются некоторыми желанными заблуждениями и предрассудками. Как правило, в них отражается что-то светлое, хотя я вовсе не уверен, что после смерти мы вдруг окажемся на неком любезном нашему сердцу цветущем лугу. Если бы на «том свете» все было таким притягательным, мы, пребывая в кругу блаженных духов, с самого рождения жили бы в ожидании грядущего блаженства. Но ничего подобного не происходит. Почему же существует эта непреодолимая стена между умершими и живыми? Почему по меньшей мере в половине рассказов о встречах с душами мертвых ощущается страх перед ними, почему «страна мертвых» хранит ледяное молчание, не выказывая сострадания, ни боли?

Когда я размышляю об этом, мне приходит в голову мысль, что однородность этого мира не допускает возможности существования какого-то «другого мира», начисто лишенного противоречий. И тамошняя «природа» тоже сотворена Богом по Своему образу и подобию. Мир, в который мы попадаем после смерти, будет и великолепным, и ужасным, как Бог и как природа, известная нам...

* * *

Если нет несовершенства, нет изначального дефекта в самом основании творения, зачем нужны тогда жажда творчества и стремление к совершенству? Почему в конце концов боги держат в своих руках судьбы человека и творения? Кому нужно это бесконечное продолжение цепи сансары? Ведь и Будда бросил жестокой иллюзии бытия свое «quod non», и христиане живут в ожидании конца света. Возможно, и на «том свете» мы столкнемся с различными ограничениями, но души мертвых лишь постепенно их обнаруживают. Где-то «там» существует некая необходимость, стремящаяся всему установить границы, все заключить в определенные рамки. И эта созидающая необходимость, как я себе представляю, в конечном счете решает, какой именно душе предстоит новое воплощение. Я могу предположить, что для некоторых душ пребывание в трехмерном пространстве менее тягостно, нежели в Вечности. Может быть, это зависит от того, сколько завершенности или незавершенности принесли эти души с собой из мира живых.

Возможно и то, что всякое продолжение трехмерной жизни теряет смысл, если душа уже достигла определенной ступени познания: ей уже не к чему возвращаться, высшее знание освобождает от желания какой-то новой, очередной жизни. Такая душа оставляет трехмерный мир, обретая состояние, которое буддисты называют нирваной. Но, если некая карма осталась неисполненной, душа стремится воплотиться снова, видимо, даже не сознавая, что нечто нуждается в завершении.

В моем случае это должно быть, наверное, страстное стремление к познанию, которое, похоже, послужило причиной моего появления на свет и определило мой характер. И эта неуемная тяга к постижению смысла сотворила сознание для того, чтобы знать, что есть и что будет, для того, чтобы за скучными и разрозненными фрагментами чего-то неведомого обнаружить мифологические представления.

Нам не дано знать, есть ли в нас нечто такое, что нас переживает и останется в вечности. Единственное, что можно с некоторой долей вероятности предположить, – это то, что какая-то часть нашей души продолжает жить после физической смерти. Мы даже не знаем, осознает ли себя это нечто, продолжающее существовать. При желании составить какое-то мнение по этому вопросу, можно, вероятно, обратиться к опытам по изучению феномена психического раздвоения личности. При своем проявлении этот комплекс чаще всего персонифицируется – так, как если бы он осознавал сам себя. Подобным образом, персонифицированы голоса, которые слышат душевнобольные. Феномен персонификации комплексов я уже освещал в моей докторской диссертации. Мы можем, если хотим, объяснить это протяженностью и непрерывностью сознания. В таком же плане следует рассматривать некоторые поразительные вещи, которые наблюдаются в случаях глубоких обмороков после серьезных повреждений мозга и в состоянии тяжелого коллапса. В обеих ситуациях полная потеря сознания иногда сопровождается ощущением внешнего мира как сновидения. Поскольку кора головного мозга, ответственная за сознание, в эти моменты не функционирует, объяснить подобные явления трудно. Но они, по крайней мере, являются свидетельством того, что даже в состоянии кажущейся бессознательности существует некая субъективная установка на осознание.

* * *

Для человека основной вопрос в том, имеет ли он отношение к бесконечности или нет? Это его главный критерий. Только когда мы осознаем, что существенно лишь то, что безгранично, и что оно, это безграничное, в свою очередь, существует, мы теряем интерес к ничтожным вещам. Если мы этого не знаем, мы требуем, чтобы те или иные наши качества, которые кажутся нам нашими достоинствами (например, «мой талант» или «моя красота»), весь мир признавал за таковые. Чем более человек настаивает на своих ложных достоинствах, тем менее он чувствует то, что существенно, тем менее он удовлетворен своей жизнью. Он считает, что его ограничивают, тогда как ограничены его собственные помыслы, – так возникают зависть и ревность.

Когда же мы понимаем и чувствуем, что уже здесь, в этой жизни, присутствует бесконечность, желания и помыслы наши меняются. В итоге в расчет принимается лишь то, что существенно, что мы воплотили, а если этого нет, жизнь прошла впустую. И в наших отношениях с другими людьми важно то же самое: присутствует ли в них некая безграничность. Но чувство безграничности может быть достигнуто лишь тогда, когда мы имеем границы вне себя. Наибольшим ограничением для человека становится его самость, проявляющаяся в ощущении: «Я есть то, а не это!» Только осознание самого себя, своих собственных границ позволяет нам ощутить бесконечность бессознательного. И тогда мы узнаем в себе одновременно и вечность, и предельность, и нечто единственное, присущее только нам, и нечто иное, присущее не нам, но другим. Зная себя как уникальное сочетание каких-то свойств, то есть осознавая в конечном счете свою ограниченность, мы обретаем способность осознать бесконечность. И только так!

В эпоху, когда человечество стремится исключительно к расширению жизненного пространства и увеличению – а tout prix рационального знания, требовать от человека осознания своей единственности и ограниченности, по меньшей мере, претенциозно. Ограниченность и единственность – синонимы, без них ощущение бесконечности (равно как и осознание ее) невозможно, остается лишь иллюзорная идентификация с ней, которая приводит к помешательству на больших числах и жажде политического могущества.

Наш век сделал акценты на «здесь» и «сейчас» и тем самым обусловил демонизацию человека и его мира. Появление диктаторов и все несчастья, которые они принесли, происходят от близорукости и всезнайства, отнявших у человека все, что находится по ту сторону сознания, фактически превративших его в жертву бессознательного. Задача же человека, напротив, заключается в том, чтобы проникнуть в бессознательное и сделать его достоянием сознания, ни в коем случае не оставаясь в нем, не отождествляя себя с ним.

И то и другое было бы ошибочным. Насколько мы в состоянии сегодня понять, единственный смысл человеческого существования состоит в том, чтобы зажечь свет во тьме примитивного бытия.